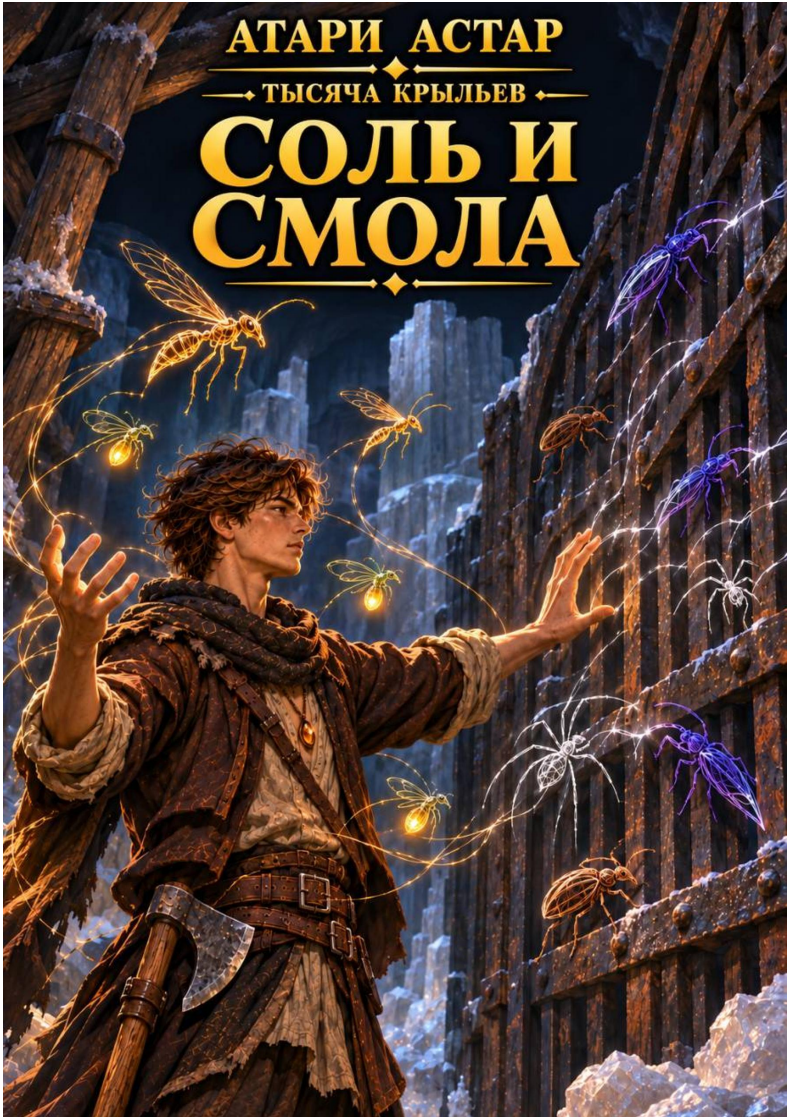

АТАРИ АСТАР
ТЫСЯЧА КРЫЛЬЕВ
СОЛЬ И СМОЛА

Атари Астар

Соль и смола

Серия «Тысяча крыльев», книга 3

https://litres.ru/74815684
SelfPub; 2026

Аннотация

После спасения девочки с солевоза Тэйн понимает: беда не закончилась у речного моста. В Хэлме людей держат в соляных копях на цепи — там даже дети учатся считать не годы, а удары колокола. Чтобы вытащить их, придётся спуститься под землю, где соль впитывает эфир, а каждый шаг может обрушить крепь.

Но Тэйн — лесоруб. Он знает: если опора трещит, её нельзя уговорить держаться. Нужно найти, на чём она стоит.

Впереди — опасный союз, старая тайна и противник, который уже давно за ним наблюдает. А ещё шестнадцать нитей, верные друзья и обещание вернуться.

«Соль и смола» — третья книга цикла «Тысяча крыльев»: фэнтези о магии, дружбе и людях, которых нельзя оставить под землёй.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	20
Глава 3	37
Глава 4	53
Глава 5	70
Глава 6	88
Г	106
Конец ознакомительного фрагмента.	107

Атари Астар
Соль и смола

Глава 1

В ту ночь у Корра снова не было бровей, и виновата в этом была среда.

— Опыт удался, — заявил алхимик, когда мы сели ужинать. — Просто не весь.

Иса посмотрела на его голый лоб, блестящий в свете котла, и записала в книгу гильдии: «Среда. Брови — нет». Ниже, мелко, добавила: «Опять». Тоби залез Корру на колени и долго гладил пальцем место, где брови были утром, будто проверял, не спрятались ли.

— Отрастут, — успокоил Бо.

— Отрастут, — согласился Корр. — К пятнице. А в пятницу второй опыт.

Это была наша двенадцатая ночь дома. Я считал. Я теперь всё считал — Рия научила, Лейн подхватил, и к концу второй недели под мостом считали все, даже кот с рыбного рынка, который точно знал, сколько раз в день Уна выносит рыбьи головы. За двенадцать ночей я выспался один раз — в первую, когда упал на лавку в комнате Дерека прямо в сапогах и проснулся только к вечеру следующего дня.

Остальные одиннадцать мне мешали нити.

Они звенели. Тихо, по ночам, все десять, сами по себе — как струны лютни у открытого окна. Искра под грудиной не тлела, как раньше, а гудела, низко и ровно, как котёл перед тем, как закипеть. Рия называла это «горн с закрытой заслонкой». Уна — «налилось». Корр, когда я спросил его в первый вечер, взял меня за запястье, посмотрел мне в глаза своими расширенными зрачками с цветным ободком и долго молчал.

— Ну? — не выдержал я.

— Красиво, — наконец произнёс Корр. — Тесно тебе. Это хорошо. Терпи.

И я терпел. Лежал по ночам в комнате Дерека, под сводом, у окна на реку, и слушал, как Ярна шуршит у опоры, а нити звенят. Иногда вставал и выходил на площадку. Там было лучше. Там было мокро и громко, и звон тонул в шуме воды.

В ту ночь я тоже вышел.

* * *

Шёл дождь — тёплый, третий день подряд. В верховьях, говорили бечевщики на пристани, лило так, что в Хольдмарке смыло две мельницы. Ярна поднялась на локоть выше летней отметки, побурела и понесла всё, что смогла оторвать от берегов: ветки, доски, мёртвую курицу, один раз — целую собачью будку, пустую, слава Ярне.

Площадка у седьмой опоры была скользкой. Вода билась о камень у самых ног и время от времени перехлёстывала

через край, облизывая доски. Лодка с облезлой синей краской, привязанная у двери, прыгала на верёвке.

На краю площадки, спиной ко мне, сидел Дорн. Под дождём, без шапки, в кожаном фартуке грузчика. Старик смотрел на воду.

Я не стал его окликать. Сел рядом, на мокрые доски. Дорн чуть повернул голову — узнал — и снова уставился на реку.

Мы сидели так долго. Мне это нравилось в Дорне: с ним можно было молчать, и это было не неловко, а как сидеть рядом с опорой моста.

— Не спишь, — наконец сказал он. Не вопрос.

— Звенит.

— Пусть звенит, — Дорн поднял руку и показал на реку, туда, где за пеленой дождя едва виднелись огни соляной пристани — выше моста, на левом берегу. — Слышишь?

Я прислушался. Шум воды. Дождь по доскам. Где-то далеко, на берегу, лаяла собака.

И ещё — рог.

Длинный, хриплый, один раз, потом сразу второй. Бечевщицкий рог. Так кричат на реке, когда что-то пошло не так.

Грузчик встал.

— Буди Бо, — коротко бросил он.

* * *

Будить Бо не пришлось. Великан уже стоял в дверях, в одной рубахе, босой, и смотрел вверх по реке. Он спал чутко, как сторожевой пёс, — по крайней мере, когда дело касалось

моста.

— Что? — спросил Бо.

— Не знаю, — ответил я. — Рог.

Я позвал светляка.

Одного. Золотые нити, зелёные, лёгкие, — светляк вылупился у меня из ладони и сразу засветился. Не ярко — он был пустой, без чужого эфира в брюшке, — но в дожде и темноте и этого хватало. Я отправил его вверх по течению, над водой, низко, и смотрел за ним одним глазом, а другим — через него.

Видеть через светляка было не то же самое, что через бурого жука. Бурый видел мир вблизи, в зернистых пятнах, и лучше слышал, чем видел, — через дерево, через доски, через подошвы. Светляк видел свет. Всё, что светилось, — фонари на пристани, фонарь на мачте — было для него ярким и важным. Остальное — серым.

Фонарь на мачте.

Фонарь висел выше пристани, в сотне шагов от моста. И он двигался. Не так, как двигаются баржи — носом вперёд, неспешно, по бечеве. Он плыл боком. Мачта кренилась то вправо, то влево, будто пьяная.

Я подвёл светляка ближе.

Солевоз. Широкий, плоскодонный, с низкими бортами и высокой кормовой надстройкой, такие ходят с моря вверх по Ярне, гружённые солью, рыбой, иногда вином. Бечевы не было — с носа свисал обрывок толстого каната, и вода тре-

пала его, как хвост. Течение развернуло судно поперёк реки и несло прямо на мост.

На седьмую опору.

На нас.

— Солевоз, — выдохнул я. — Бечева лопнула. Идёт боком. Прямо сюда.

Дорн выругался. Тихо, коротко, по-северному — тем словом, которым у нас в Тарвене ругаются, когда дерево падает не туда.

Бо ничего не сказал. Здоровяк просто шагнул мимо меня на край площадки, к самому камню опоры, и встал, расставив босые ноги.

— Держу, — пробасил он.

* * *

Площадка проснулась за двадцать вдохов.

Это было как в Кедровом квартале в ночь Кануна — только меньше людей, больше воды и никакого огня. Сорен выскочил первым, в штанах и с ножом в зубах, — он всегда сначала хватал нож, потом рубаху. За ним — Рия, в куртке поверх ночной рубахи, с растрёпанной косой. Лейн в одеяле. Тоби в одеяле Лейна. Иса — полностью одетая, с книгой, будто и не ложилась.

Уна вышла последней, с трубкой, не зажжённой. Встала в дверях.

— Сколько? — спросила старуха.

— Сто шагов, — ответил я. — Может, меньше.

Уна посмотрела на реку. На мачтовый фонарь, который теперь видели все — он приближался, качаясь, жёлтый, пьяный.

— Если ударит боком, — ровно произнесла она, — переломится пополам. Встанет поперёк пролёта. Ярна упрётся в неё, вода поднимется. Мост выдержит. — Пауза. — Но в трюме — соль. Тонна. Две. И люди на палубе.

Что делать, Уна не сказала. Она смотрела на меня.

Я понял. Это было как с Щучьим плёсом прошлой зимой. Твой. У тебя патент. Ты и думай.

Сто шагов. Восемьдесят.

Я думал так, как думал всегда, когда не было времени думать: как лесоруб. Дерево, которое падает не туда, нельзя остановить. Его можно только развернуть. Подрубить так, чтобы оно легло куда ты решил, а не куда хочет ветер.

Судно — то же дерево. Только вместо ветра — вода.

— У солевозов якоря на носу, — сказал я. — Два. Висят на стопорах. Если отдать один — нос встанет против течения. Судно развернёт, как флюгер. Оно пойдёт в пролёт носом, а не боком. Или вообще встанет на якоре выше моста.

— Если якорь возьмёт, — проворчал Дорн.

— Если возьмёт.

— А люди на палубе отдать якорь не могут? — спросила Рия.

Я посмотрел через светляка. Палуба была пустая. Кормовая надстройка — тёмная. Только у носа мелькнули две фи-

гуры — и одна из них прыгнула за борт. За ней — вторая.

— Не могут, — ответил я. — Они только что прыгнули.

* * *

Я позвал железных.

Двух. Серые нити, тяжёлые, как цепь. Два железных древоточца — шесть нитей, больше половины всего, что у меня было. Ладонь просела под ними, как под гирей. Я отправил их к солевозу — низко над водой, против дождя, гудя.

Стопор на солевозах — толстая просмолённая верёвка, которой якорная цепь привязана к кнехту на носу. Якорь висит под бушпритом, тяжёлый, железный, и ждёт, когда стопор отдадут. Отдадут — цепь побежит, якорь уйдёт на дно.

Железному не нужна была верёвка — бурый перегрыз бы её быстрее. Но бурый в такой дождь, на таком расстоянии мог и не долететь, а если долетит — мог не удержаться на мокром канате. Железный долетит. Железный удержится.

Древоточцы долетели.

Я видел их через светляка — две серые точки на носу солевоза, у правого якоря. Один впился в стопор, второй — в звено цепи у самого кнехта. Не грызть — держаться. А грызть стал первый. Просмолённые волокна лопались одно за другим.

Пятьдесят шагов.

Рядом со мной кто-то заговорил. Лейн. Тихо, сквозь дождь:

— Раз. Я держу.

Я не сразу понял, о чём он. Потом увидел. На ладони мальчика — огонёк. Маленький, с орех, ровный, рыжий. Лейн прикрывал его одеялом от дождя — и протягивал вперёд, ко мне, будто фонарь. Чтобы мне было видно.

Мне не нужен был свет. У меня был светляк.

Но я кивнул ему. Лейн очень серьёзно кивнул в ответ.

— Два, — прошептал он. — Я держу.

Стопор лопнул.

* * *

Якорь ушёл в воду с грохотом, который был слышен даже сквозь дождь. Цепь побежала из клюза, звеня и высекая искры о железную окантовку, — и побежала, и побежала, и…

И натянулась.

Взял. Якорь взял дно.

Солевоз дёрнулся всем корпусом — так, что мачтовый фонарь чуть не слетел, — и нос его, медленно, тяжело, начал поворачиваться против течения. Корма пошла вниз по реке, к нам, боком, потом наискось, потом…

— Корма, — предупредил Дорн. — Корма идёт на опору.

Старик был прав. Якорь развернул солевоз — но не успел остановить. Цепь была длинной, течение — сильным, и судно, вставая против воды, кормой продолжало ползти вниз. Прямо на седьмую опору. Не боком теперь — углом кормы, тяжёлой, с высокой надстройкой.

Это был не такой удар, как боком. Боком — переломило бы. Углом — пробьёт корму. Или опору поцарапает. Или…

Бо пошёл навстречу.

Здоровяк прыгнул с площадки на выступ опоры — каменный карниз в локоть шириной, по которому весной ходили смолить сваи. Встал на нём, спиной к камню. Мокрый, босой, огромный. Поднял руки.

— Бо! — крикнула Рия.

Корма солевоза выплыла из темноты. Высокая, чёрная, с резной доской под окнами надстройки, на которой было написано облупленными белыми буквами: «СЕСТРА СОЛИ». Она надвигалась на Бо, как стена дома.

Великан упёрся в неё ладонями.

И руки у него изменились.

Я почувствовал это Чутьём — не глазами, глазами я видел только мокрую рубаху и белые костяшки. Эфир в его руках сгустился, налился тяжестью — от плеч до кончиков пальцев. Кожа посерела, как речной камень. Не весь Бо. Только руки. И плечи. И спина — я видел, как по позвоночнику прошла эта серость, вниз, в ноги, в босые ступни, вросшие в каменный карниз.

Кусками. Как учил Корр.

Корма ударила.

Звук был такой, будто кто-то уронил на мостовую воз с брёвнами. Солевоз содрогнулся от носа до кормы, мачта заскрипела, с надстройки посыпались стёкла. Вода плеснула на площадку выше колена, сбила с ног Тоби — Лейн поймал его за одеяло.

Бо стоял.

Карниз под ним треснул — я слышал, как треснул камень, — но Бо стоял. Руки у него ушли в резную доску кормы по запястья, проломили её, как лист пергамента. Солевоз остановился.

Он висел на якоре, задрав нос против течения, упёршись кормой в Бо, а Бо — в мост.

— Держу, — процедил Бо сквозь зубы. Очень тихо.

Я поднял голову. Над дверью опоры, в узком окне общей комнаты, кто-то стоял. Невысокий, широкий. Свет от котла падал на него сзади, и лица я не видел — только силуэт и один глаз, белый, как молоко, поймавший отблеск мачтового фонаря.

Вард смотрел на реку. Гильдмастер не вышел. Не крикнул. Просто стоял и смотрел, как мы справляемся. А потом отошёл от окна, и я так и не понял, был ли он доволен.

— Люди, — крикнул Сорен. — В воде.

— Люди, — сказал Сорен. — В воде.

Двое, что прыгнули с носа, были ниже по течению, у самого моста. Одного несло на соседнюю, шестую опору — он бил руками, захлёбывался. Второй уже держался за обломок доски и орал что-то, чего не было слышно.

Я позвал вдову.

Жемчужные нити — перламутровые в свете Лейнова огонька. Вдова села мне на запястье, и я отправил её к тому, кто захлёбывался. Паучиха прыгнула — прямо с моей руки,

через воду, на нити, которую тянула за собой из брюшка, — и упала человеку на плечо.

Паутина легла на тонущего в два вдоха. Не кокон — сеть. Через плечо, под мышку, вокруг груди — и обратно, ко мне. Жемчужная нить через реку, тонкая, как волос, и прочная, как цепь, потому что держала не тело — эфир. Его эфир, слабый, как у всех, у кого нет Искры, но эфир.

Я потянул.

Человека дёрнуло. Нить звенела. Вода тянула его вниз по течению, под мост, а вдова — ко мне.

Рядом встал Сорен. Товарищ схватился за нить — голыми руками, у самой моей ладони. Мы потянули вместе.

Человек ударился о край площадки, и Сорен вытащил его за ворот. Мокрого, белого, наглотавшегося воды. Спасённый лёг на доски и выкашлял, казалось, половину Ярны.

Второго Дорн вытащил лодочным багром. Даже не вставая с колен — просто протянул багор, как протягивают руку, и бедолага вцепился в него, и старик вытянул его на площадку одним движением. Тяжёлого, в сапогах.

Дорн не пользовался магией. Никогда. Но руки у него были руки человека, который двадцать лет таскал мешки с баржи на берег.

— Сколько вас было? — спросила Уна у того, кого вытащил Сорен.

Тот кашлял. Мотал головой.

— Двое, — выдавил матрос наконец. — Только мы. Хо-

зяин… хозяин на берегу остался, на пристани. Бечева лопнула… мы не виноваты… она гнилая была, мы говорили…

— Груз?

— Соль, — он сплюнул воду. — С юга. С моря. Вверх, в Хольдмарк.

Иса подошла к нему. Наклонилась. Близко, как наклоняются к ране.

— Только соль? — спросила счетовод.

Матрос посмотрел на неё. На её остроносое лицо, на чёрный узел волос, мокрый от дождя.

— Только соль, — ответил он.

Иса выпрямилась. Губы у неё сжались.

— Горько, — тихо произнесла она.

* * *

Спасённый вскочил. Мокрый, шатаясь, — и побежал. Мимо Уны, мимо двери, к лестнице на набережную. Второй, которого вытащил Дорн, — за ним. Сорен рванулся следом, но Уна подняла руку.

— Пусть бегут, — остановила она. — Нам интереснее то, от чего они бегут.

Старуха посмотрела на солевоз. Судно висело на якоре, задрав нос, корма — в руках у Бо. Мачтовый фонарь качался. Надстройка была тёмной, с выбитыми стёклами.

— Тэйн, — позвала Уна. — Сорен. Глянуть.

Мы полезли по Бо.

Это было единственное, что можно было сделать: корма

упиралась в Бо, а Бо — в опору. Сорен прошёл по его плечу, как по бревну через ручей, — легко, на полвдоха раньше, чем великан мог бы пошевелиться. Я — следом, тяжелее, хватаясь за мокрую рубаху.

— Ноги, — заметил Бо. Без обиды. Просто сказал.

— Извини.

— Ничего. Держу.

Палуба солевоза была скользкой от дождя и соли. Соль была везде — белой коркой на досках, на канатах. Пахло морем. Я никогда не видел моря, но почему-то сразу понял, что это его запах: йод, водоросли, рыба и ещё что-то острое, как запах снега.

Светляк висел над нами, освещая палубу. Я позвал второго — на одну нить, — и он тоже засветился, и стало видно больше.

Люк в трюм был открыт. Квадратная дыра в палубе, чёрная. Из неё пахло солью — так густо, что першило в горле.

Сорен присел на краю. Посмотрел вниз.

— Мешки, — доложил он. — До самого верха. Соль.

— Иса сказала — горько.

— Иса много чего говорит, — но товарищ не встал. Он смотрел в люк и хмурился. — Лесоруб. Послушай.

Я прислушался.

Дождь. Он барабанил по палубе, по надстройке, по мешкам в трюме — громко, как тысяча пальцев по столу. Вода шумела у борта. Скрипела якорная цепь. Где-то внизу, на

площадке, кричала Иса что-то Уне.

А в трюме было тихо.

Не так, как бывает тихо, когда ничего не происходит. Дождь падал в открытый люк — я видел капли в свете светляка, они летели вниз, в темноту, на мешки, — и не было слышно, как они падают. Будто кто-то накрыл мешки войлоком.

— Это не тишина, — прошептал Сорен. — Это кто-то тихий.

* * *

Я спустился первым.

Мешки лежали плотно, один на другом, — грубая серая мешковина, у каждого на боку тиснёное клеймо: солнце над тремя башнями.

Я замер.

Солнце над тремя башнями. Я видел его на перстне, который неделю носил на пальце в Аэвене и отдал Кассиану перед отъездом. Печать дома Орре.

— Сорен, — позвал я вверх. — Клеймо. Видишь?

Друг свесился в люк. Посмотрел. Присвистнул — беззвучно, потому что звук пропал, едва сорвавшись с губ.

Я пошёл по мешкам. Медленно, на четвереньках, держа светляков над собой. Тишина становилась гуще с каждым шагом. Я перестал слышать собственное дыхание. Потом — стук собственного сердца. Это было страшно: будто уши заложило ватой, а потом и ваты не стало.

Потом я увидел.

Между двумя мешками у самой переборки, в узкой щели, куда не залез бы и Тоби, лежало что-то белое. Сначала я подумал — ещё мешок, разорванный, с просыпанной солью. Потом белое шевельнулось.

Это была рука. Тонкая, белая от соли, как от муки, с обломанными ногтями. Она держала что-то у груди. Брусок. Светло-серый, полупрозрачный, с острыми гранями.

Я наклонился ниже.

Девочка. Лет двенадцати, может, тринадцати. Худая, вся в соли — волосы, лицо, ресницы. Глаза закрыты. Губы потрескались до крови.

На шее — ошейник.

Железный, широкий, в два пальца, плотно охватывающий горло. На нём, на передней стороне, было выбито число: «214». А по железу, вокруг числа, вились белые линии — тонкие, как прожилки на листе, — и я знал, что это не узор. Это было плетение. Я чувствовал его Чутьём, даже здесь, в мёртвой тишине: что-то холодное, жадное, как губка, которую положили на мокрое.

Ошейник пил.

Девочка открыла глаза.

Тёмные, огромные на белом лице. Девочка посмотрела на меня. На светляков над моей головой. На мою руку.

И тишина вокруг неё дрогнула. Сломалась, как ломается тонкий лёд, — и в уши мне вдруг ударил шум: дождь, вода,

скрип цепи, мой собственный стук сердца, громкий, как барабан.

Она что-то сказала. Так тихо, что я не расслышал.

Я наклонился к самым её губам.

— Мост, — прошептала она. — Йенс сказал — мост.

И протянула мне брусок.

Это была соль. Каменная, серая, полупрозрачная, размером с ладонь. На одной грани кто-то вырезал знак. Неровно, глубоко, чем-то острым и упрямым.

Лиственница.

Глава 2

Девочка весила меньше, чем мешок с солью, на котором лежала.

Я поднял её из щели между мешками, и девочка не сопротивлялась. Только прижала к груди брусок с лиственницей и закрыла глаза. Тишина вокруг неё больше не держалась — расползлась, и теперь трюм гудел дождём и скрипом. Я нёс её по мешкам, пригнувшись, а Сорен светил сверху моими же светляками, держа их в ладонях, как фонарь.

— Живая? — спросил товарищ.

— Живая.

— А это что? — он показывал на ошейник.

— Не знаю.

Мы передали её через люк — Сорен принял, — потом он отдал девочку Бо, всё ещё упёршемуся в корму, а великан, не опуская одной руки, другой передал её на площадку Рии.

— Держу, — сказал Бо. На этот раз — про девочку.

Потом подумал и добавил:

— Лёгкая.

* * *

Когда мы с Сореном перелезли обратно на площадку, якорь держал. Солевоз висел против течения выше моста, задрав нос, и корма его отошла от опоры на две ладони — Бо отпустил её. Здоровяк стоял на треснувшем карнизе, тяжело

дыша, и руки его медленно возвращались: серость уходила из пальцев, из локтей. Последними порозовели плечи.

Бо подул на ладони.

— Резьба, — с сожалением произнёс он. — Сломал.

Бо смотрел на корму. На доску с облупленными белыми буквами — «СЕСТРА СОЛИ», — в которой теперь были две дыры в форме ладоней.

— Ничего, — успокоил Сорен. — Хозяин разберётся. Если найдётся.

— Хозяин найдётся, — отозвалась Иса. Счетовод стояла у двери и что-то писала в книгу, прикрывая страницу от дождя рукавом. — Такие всегда находятся. Утром. С бумагой.

* * *

Внутри, в общей комнате, было тепло и пахло дымом и мокрой шерстью. Котёл ещё не остыл с ужина. Уна сняла с крюка свой старый плащ, бросила его на диван Бо, и Рия положила на плащ девочку.

Все встали вокруг. Тоби пролез между ногами и сел на пол у самого дивана, вцепившись в край плаща. Лейн — за ним. Огонёк у мальчика на ладони погас, но он всё ещё держал руку раскрытой, будто забыл закрыть.

Девочка лежала с закрытыми глазами. Соль на ней начала таять в тепле — по щекам, по шее текли мутные дорожки, и под ними проступала кожа: смуглая, южная. Волосы оказались не белыми, а чёрными. Брови — тоже.

Ошейник в свете котла был серым, тусклым. Число «214»

— чётким, будто выбитым вчера. Белые прожилки на железе едва заметно мерцали.

Корр протиснулся вперёд. Без бровей, в ночном колпаке, с лупой на шнурке.

— Не трогать, — велел он.

— Никто не трогает, — ответила Уна.

— Вот и не трогать.

Алхимик наклонился над девочкой. Не над ней — над ошейником. Глаза у него стали шире — зрачки расплылись на всю радужку, и вокруг них проступил цветной ободок, как всегда, когда Корр смотрел на эфир. Смотрел он долго. Лупа ему была не нужна — он держал её по привычке.

— Хм, — протянул Корр. — Хм.

— Что?

Он не ответил. Выпрямился. Посмотрел на Уну.

— Это не кандалы, — наконец произнёс старик. — Кандалы держат тело. Это держит эфир. Тянет из неё. Медленно. Как фитиль тянет масло из лампы, — он почесал голый лоб. — Не видел такого. Видел похожее — в Службе Наполнения, на старых батареях. Но там тянут из кристалла в кристалл. А тут — из живого.

— Куда тянет? — спросила Рия.

— Внутрь, — ответил Корр. — В само железо. Там, под ним, что-то есть. Слой. Белый, — он сощурился. — Мне надо посмотреть ближе. Но не сейчас. Сейчас её надо кормить.

* * *

Девочка открыла глаза, когда Уна поднесла к её губам ложку похлёбки.

Это была та самая похлёбка, которую Уна варила каждый вечер вот уже сорок лет и от которой вторую миску не брал никто — никогда, даже Бо, который ел всё, включая сырую репу. Похлёбка была серой, с чем-то, что когда-то было рыбой, и с чем-то, что, по словам Сорена, когда-то было сапогом.

Девочка проглотила ложку. Вторую. Третью.

Потом взяла миску из рук Уны — обеими руками, дрожащими, — и выпила её всю, не отрываясь, через край.

Опустила миску. Посмотрела на Уну.

— Ещё, — хрипло попросила она. — Пожалуйста.

В комнате стало очень тихо. Не так, как в трюме. Сорен открыл рот и забыл его закрыть. Иса перестала писать. Бо, сидевший на полу у двери, медленно повернул голову.

Уна смотрела на девочку. Маленькие светлые глаза у неё сделались ещё меньше. Потом старуха встала, молча подошла к котлу, налила вторую миску и вернулась.

— Как тебя зовут? — спросила она, протягивая миску.

— Тиль.

— Тиль, — повторила Уна. И я впервые за всё время под мостом увидел, как она улыбается. Коротко, криво, одним углом рта. — Тиль останется.

— Это за похлёбку? — шёпотом спросил Сорен у меня.

— Это за вторую миску, — шёпотом ответил я.

* * *

Девочка выпила три миски. Потом уснула — сразу, на полуслове, как задувают свечу. Брусок с лиственницей не выпустила.

Мы сидели вокруг дивана до рассвета. Никто не ушёл спать. Бо задремал у двери, привалившись к косяку, но вздрагивал каждый раз, когда девочка во сне шевелилась. Корр сидел на табурете с лупой и смотрел на ошейник. Тоби уснул у Лейна на коленях, Лейн — сидя, прислонившись к ножке стола.

Под утро Тиль проснулась. Оглядела нас всех по очереди. На мне задержала взгляд дольше.

— Ты, — произнесла она. — С жуками. В трюме.

— Я.

— Это мост? Под которым гильдия?

— Да.

Девочка закрыла глаза. Губы у неё дрогнули.

— Дошла, — прошептала она. — Йенс сказал — не дойду. Сказал — если дойду, покажи им лиственницу. Там поймут.

Тиль протянула мне брусок. Второй раз.

Я взял. Соль была тёплой от её рук. Лиственница на грани — неровная, глубокая, с точкой у основания ствола. Разметка. Тамм говорил: сперва разметь, потом режь. Йенс размечал.

— Я знаю, кто такой Йенс, — ответил я. — Я видел его отца. И его доску.

Тиль открыла глаза.

— Доску?

— Из ящика. Где везут на юг. Он вырезал на ней лиственницу. Ногтем. И две буквы.

— «Й. Т.», — кивнула Тиль. — Он везде так. На стенах. На столбах. На ложках, когда давали ложки. Надсмотрщики стирают, а он опять, — она слабо улыбнулась. — Говорит, это чтобы отец нашёл.

* * *

У двери стояла Вейра.

Я не заметил, когда она вошла. Вейра жила у Исы на галерее, в комнате с окном на Шпиль, и, наверное, проснулась от шума. Стояла в ночной рубахе, с наброшенным на плечи одеялом, и смотрела на брусок у меня в руках.

Я протянул его ей.

Девушка не взяла. Она смотрела на лиственницу. Долго. Чернильные пальцы, сжимавшие край одеяла, побелели.

— Точка, — тихо сказала она. — Он всегда ставил точку у корня. Отец ругался, что это лишнее, что по разметке и так видно. А Йенс говорил: это чтобы помнить, откуда растёт.

Вейра подошла к дивану. Опустилась на колени рядом с Тиль. Близко.

— Я его сестра, — произнесла она. — Он жив?

Девочка смотрела на неё. Долго, внимательно, будто сверяла с кем-то.

— У тебя его нос, — наконец ответила Тиль. — Жив. Он

держит. Он хорошо держит. Лучше всех на нашем ряду. — Пауза. — Поэтому его не отпускают.

Вейра закрыла лицо руками.

* * *

Потом Тиль рассказывала. Не всё сразу — по кускам, между ложками похлёбки (четвёртая миска, Уна принесла сама, никто не просил), между долгими паузами.

Её звали Тиль. Ей было тринадцать. Девочка была из рыбацкой деревни на южном берегу, «где море и соль», и её отвели к Камню в одиннадцать — «рано, но мама сказала, нам повезло». Камень загорелся ровно и долго. Женщина в сером записала: «устойчивое». Через месяц за ней приехали.

Хэлм.

Тиль так и сказала — Хэлм. Город на соли. Белый, весь белый, белая пыль на зубах. Под городом — копи. Глубоко, ярусами, один под другим. Наверху — обычные работники, шахтёры, возчики. Внизу — «нижний горизонт».

Там — столбы.

— Белые, — объяснила Тиль. — Соль. Вот такие, — она развела руки, сколько хватило, — и выше головы. Стоят рядами. Много. Мы сидим у них. Ладони на соли. И держим.

— Держите что?

— Себя, — ответила девочка, будто это было очевидно. — Свою Искру. Ровно. Не вспыхивать. Не гаснуть. Ровно-ровно, весь день. А соль пьёт, — она тронула пальцами ошейник. — И это пьёт. Ночью, когда спим. Чтобы ничего не про-

падало.

— А столбы? — спросил Корр странным голосом. — Что потом со столбами?

Тиль пожала плечами.

— Их режут. Когда наливаются. Приходят резчики с пилами, режут на куски. Куски увозят наверх, — она подумала. — Они тогда другие. Не белые. Прозрачные. Как лёд.

Корр встал с табурета.

Медленно, как встают старики. Подошёл к полке у своей двери — туда, где у него всегда стояли ящики с кристаллами для опытов. Взял один. С ноготь, прозрачный, как капля. Вернулся. Протянул на ладони Тиль.

— Такой?

Тиль посмотрела.

— Такой.

Корр смотрел на кристалл у себя на ладони. Без бровей лицо алхимика было странно голым, беззащитным — как у ребёнка.

— Белый хэлм, — глухо произнёс он. — Высший сорт. Обезличенный. Самый чистый эфир в Империи. Я покупаю такие в Службе Наполнения по три сола за дюжину. Двадцать лет покупаю, — старик сжал кулак. — Я думал, их добывают. Как уголь.

Никто ничего не сказал.

— Я сжёг на них свои брови, — тихо добавил Корр. — Шестьдесят раз.

* * *

Снимать ошейник мы попробовали на рассвете.

Корр был против. Он сказал, что сначала надо понять, что внутри, а потом уже грызть. Но Тиль ответила, что ошейник пьёт её каждую ночь, что на солевозе он выпил её почти до дна и что если сегодня ночью он выпьет ещё, она, наверное, не проснётся. Сказала спокойно, будто про погоду.

Алхимик замолчал.

Я позвал железного.

Серые нити, тяжёлые. Древоточец сел мне на ладонь, и я поднёс его к ошейнику. К самому краю, сбоку, где железо было тоньше всего, — у заклёпки.

— Медленно, — предупредил Корр. — Одну заклёпку. Не плетение. Только железо.

— Понял.

Жук впился в заклёпку.

Железо заскрежетало — тихо, как ложка по дну котла. Жвалы у железного были почти белые, острые, и он грыз заклёпку, как бурый грызёт сучок, — по кругу, снимая стружку. Тиль лежала неподвижно, только смотрела вверх, на свод.

Полвдоха. Вдох.

А потом белая прожилка на ошейнике, ближайшая к заклёпке, — вспыхнула.

Не светом — холодом. Я почувствовал это через нить: жук вдруг стал тяжелее, тусклее. Нить, которая шла от него ко мне, дёрнулась — и что-то потекло по ней. Обратно. Ко мне.

Сухое. Жадное. Как губка.

Оно пило моего жука. А через древоточца — меня.

Тиль закричала. Тонко, коротко — и тишина вокруг неё снова сомкнулась, мгновенно, будто захлопнули дверь. Крик оборвался на середине. Рот девочки был открыт, лицо — искажено, а звука не было.

— Отпусти! — крикнул Корр. Я видел, как шевелятся его губы, но не слышал — тишина Тиль накрыла и нас.

Я не отпустил.

Не знаю почему. Наверное, потому что жук не хотел. Я чувствовал его через нить — тяжёлого, упрямого, — и он не хотел отпускать заклёпку. Вцепился в неё и грыз. А белая прожилка пила его — а он грыз. Она пила — он грыз.

И одна жвала, левая, соскользнула с железа и прошла по белой прожилке.

Не по железу. По плетению.

Белая нить — тонкая, как волос, — погасла.

Не вся. На ширину ногтя. Там, где по ней прошла жвала, — пусто. Обрыв. Остальная прожилка мерцала, как прежде, а в этом месте — ничего.

Холод в нити исчез. Жук перестал тускнеть.

А через вдох обрыв на прожилке затянулся. Медленно, нехотя, как затягивается порез. Белая нить срослась.

И снова начала пить.

Я отпустил жука. Древоточец распался серой пылью у Тиль на груди. Удар отдачи пришёл в голову — тупой, тяжё-

лый, — и я сел на пол, держась за край дивана.

Тишина вокруг Тиль разжалась. Девочка тяжело дышала, держась за горло.

* * *

— Ты видел? — спросил Корр.

Алхимик сидел на корточках рядом со мной. Зрачки у него были огромные.

— Видел, — ответил я. — Жук съел нить.

— Не железо. Нить. Плетение, — Корр говорил быстро, шёпотом. — Это невозможно. Жуки едят то, что можно потрогать. Дерево. Железо. Плетение потрогать нельзя. Это эфир. Это как… как откусить кусок от песни.

— Он откусил.

— Откусил, — Корр смотрел на меня. — Ты можешь это повторить?

Я вспомнил Крыло Вёсен. Прошлую весну. Как бурый жук на двери Крыла куснул сторожевое плетение, и нить погасла на ладонь, и срослась, и я решил тогда, что показалось.

Не показалось.

— Не знаю, — честно признался я. — Я ничего не делал. Он сам.

— Сам, — повторил Корр. — Сам, — он встал. Посмотрел на ошейник. На белые прожилки, которые снова мерцали ровно. — Ладно. Не сегодня. Сегодня — вот что.

Старик ушёл к себе в мастерскую. Загрохотал там чем-то. Вернулся с тонкой медной пластиной и куском воска. Сел

рядом с Тиль. Аккуратно просунул пластину между ошейником и её шеей — там, где железо прилегало к коже. Прижал воском.

— Медь, — пояснил он. — Медь проводит. Если плетение пьёт — пусть пьёт из меди. А медь я буду кормить, — Корр вынул из кармана кристалл, тот самый, белый хэлм, и прижал его к медной пластине снаружи. — Вот. Пусть пьёт своё. Я буду менять. Каждый вечер.

Тиль посмотрела на алхимика. Долго.

— Ты кормишь ошейник, — произнесла она. — Чтобы он не ел меня.

— Пока, — ответил Корр. — Пока не пойму, как его снять. Дай мне неделю, — он подумал. — И брови.

* * *

Хозяин солевоза нашёлся, как и сказала Иса, утром. С бумагой.

Только хозяин был не один. С ним были двое в сером.

Я узнал их не по лицам — лица у серых всегда были такие, что забываешь, пока смотришь, — а по походке. Неспешной, ровной. Так ходили люди Ольса в Аэвене. Так ходил сам Ольс. Наверное, их всех этому учили.

Серые спустились по лестнице с набережной на площадку и остановились у двери. Хозяин солевоза — грузный, красный, с бородой, мокрой от дождя, — постучал.

Не три — пауза — два. Просто постучал. Кулаком.

Бо открыл. Встал в проёме, заполнив его целиком.

— Мне нужен старший, — заявил хозяин. — Ваши люди пытались взять мой груз.

— Наши люди, — медленно проговорил Бо, — держали твою корму. Всю ночь, — он показал руки. Ладони были в занозах от резной доски. — Вот.

— Это ваши проблемы. Я не просил держать, — купец махнул бумагой. — У меня на борту был ещё один груз. Особый. Казённый. Его нет. Его забрали. Ваши.

Серые молчали. Стояли за его спиной и смотрели на Бо.

Великан подумал.

— Подожди, — сказал он и закрыл дверь.

* * *

Бо прошёл через общую комнату, мимо дивана с Тиль, к лестнице на галерею. Поднялся. Постучал в дверь — ту, что была заперта всю прошлую весну. Тихо. Один раз.

Дверь открылась.

Вард вышел на галерею. В рубахе, в тонких кожаных перчатках, хотя в комнате было жарко от котла. Белый глаз смотрел куда-то вниз, на диван. Серый — на Бо.

— Серые, — доложил Бо. — Двое. И хозяин. Хотят девчонку.

Вард кивнул. Спустился по лестнице. Медленно, не держась за перила. Прошёл через комнату — мимо меня, мимо Корра, мимо Тиль, которая сжалась на диване, увидев его, и натянула плащ Уны до подбородка. Гильдмастер даже не посмотрел на неё. Подошёл к двери. Открыл.

И сел.

Прямо на порог. На каменную ступеньку. Положил руки в перчатках на колени. Посмотрел на серых снизу вверх, будто они пришли продавать ему рыбу.

— Доброе утро, — произнёс гильдмастер.

Хозяин солевоза открыл рот. Закрыл. Видно было, что он ждал кого-то другого. Кого-то, кто будет кричать.

— Вы… — начал он.

— Роан Вард, — представился старик. — Седьмая Опора. Слушаю.

Один из серых чуть шевельнулся. Совсем чуть — переступил с ноги на ногу. Как переступает человек, который услышал знакомое имя и не обрадовался.

— У нас распоряжение, — сказал серый. Голос ровный, вежливый, как у Ольса. — Беглая с казённых работ. Номер двести четырнадцать. Подлежит возвращению.

— Покажите распоряжение.

Серый протянул лист. Вард взял его пальцами в перчатке. Читать не стал. Посмотрел на печать внизу — серую, с книгой и глазом. Вернул.

— Серая, — заметил он.

— Печать Реестра.

— Я вижу, что Реестра, — Вард говорил негромко, с хрипотцой. — Вы стоите на площадке седьмой опоры. Опора — моя. Гильдия здесь стоит сто лет, мост — триста. Чтобы взять с опоры человека, нужна красная печать. Имперская.

Или решение Палаты. Так в Уставе, статья девятнадцатая. — Пауза. — Мой счетовод может показать.

Иса возникла у него за плечом. С книгой Устава, раскрытой на нужной странице. Не сказала ни слова. Просто держала.

Серый посмотрел на Устав. На Ису. На Варда, сидящего на мокром пороге в перчатках.

— Будет красная печать, — пообещал он.

— Будет — приходите, — ответил Вард. — Я буду здесь.

Гильдмастер не встал. Он просто сидел и смотрел на них, и в его лице не было ни злости, ни угрозы. Только спокойствие. Как у очень старой опоры, когда на неё в половодье несёт бревно.

Серые ушли. Хозяин — за ними, оглядываясь и ругаясь вполголоса. Я слышал, как на лестнице один серый сказал другому — тихо, но ветер с реки донёс:

— На юге этого не простят.

* * *

Вард встал с порога, когда они скрылись наверху. Отряхнул штаны. Вошёл и закрыл дверь.

Посмотрел на меня.

— Лесоруб, — позвал он. — Галерея.

Я поднялся за ним по лестнице. К себе мастер заходить не стал — остановился у перил, над общей комнатой, глядя вниз, на диван, на Тиль, на склонённую лысую голову Корра.

— Ты хочешь на юг, — произнёс Вард. Не вопрос.

— Там Йенс. Там дети. Там…

— Я знаю, что там.

— Тогда…

— Год, — перебил Вард. Он повернулся ко мне. Белый глаз смотрел мне куда-то за плечо, серый — прямо в лицо. — Я написал на доске: год. До Турнира. Год ты учишься. Растёшь. Становишься Канделом. Ты пойдёшь в Чашу, и выиграешь, и попросишь то, что хочешь попросить. — Пауза. — А не на юг.

— Почему?

— Потому что на юге — соль, — ответил гильдмастер. — А соль пьёт. Медленно. Как он, — Вард кивнул вниз, на ошейник Тиль. — Твои жуки там потускнеют за десять вдохов. Ты — за неделю. Тиар в соли — это огарок, — он повернулся к перилам. — Не юг, лесоруб. Год.

Старик ушёл к своей двери. Открыл её. На пороге остановился.

— И скажи Корру, — бросил он, не оборачиваясь, — что медь — правильно. Но пусть меняет кристалл не раз за вечер, а дважды за ночь. Хэлмские ошейники пьют больше ночью.

Дверь закрылась.

* * *

Я стоял у перил долго. Потом спустился.

Тиль не спала. Она лежала на диване, укутанная в плащ Уны, и смотрела на меня. Тоби сидел у неё в ногах, рисуя

мелом на полу жука.

Я присел рядом.

— Тиль, — тихо позвал я. — Ты говорила кому-нибудь, откуда ты? Как называется город?

Девочка подумала.

— Тебе, — ответила она. — Ночью. И старику без бровей. И той, что с книгой, — Тиль посмотрела наверх, на галерею. — Больше никому.

— А серым? Хозяину солевоза?

— Хозяин знал, что везёт. Серые… — Тиль пожала плечами. — Серые говорят «казённые работы». Они никогда не говорят «Хэлм». Даже там. Даже надсмотрщики. Говорят «юг». «Низ». «Работы».

Я посмотрел на дверь Варда. Закрытую. Тёмную.

Хэлмские ошейники пьют больше ночью.

Тиль не рассказывала ему. Ни про Хэлм, ни про ошейники, ни про ночь. Вард ни разу не подошёл к дивану. Не спросил ни слова. Даже не посмотрел на неё.

А он знал.

Глава 3

На Высоком Шпиле меня встретили так, будто я пришёл продавать рыбу в храм.

Двор был мощёный, чистый, с фонтаном посередине, и вокруг фонтана на скамьях сидели ученики в синих куртках со шпилем на груди. Человек двадцать. Они разговаривали, смеялись, кто-то читал, кто-то гонял над водой маленький смерч размером с кулак. Когда я вошёл в ворота — в рабочей куртке, с топором на бедре, с бурым жуком на плече, потому что бурый жук на плече успокаивал меня лучше, чем что-либо ещё, — разговоры стихли. Смерч над фонтаном распался и уронил в воду лист.

— Это он, — прошептал кто-то, но я услышал.

— Тот, с моста?

— Который Свод.

— Который в Аэвене Реестру…

— Тихо!

Я прошёл через двор. Двадцать пар глаз провожали меня, как провожают медведя, забредшего на ярмарку. Медведь, может, и смирный, но лучше не стоять у него на дороге.

У крыльца главной башни меня ждал Лориан. Высокий, тонкий, в синем плаще, с тёмными волосами в хвосте. Кандел улыбался — той улыбкой, которую я помнил по Аэвену, по ночи под акведуком, когда он срезал тетивы арбалетов со

скользких выступов.

— Лесоруб, — поприветствовал он. — Ты привёл с собой жука в Шпиль.

— Он смирный.

— Это не жук смирный, — усмехнулся Лориан. — Это ты смирный. А жук у тебя на плече только что съел половину перил.

Я посмотрел. Бурый действительно сидел не на плече, а на каменных перилах крыльца, — точнее, на дубовой накладке поверх камня, — и от накладки уже осталось меньше, чем было.

— Это нервное, — смутился я.

— Вижу, — Лориан махнул рукой в сторону башни. — Пошли. Мастер Корвиан сказал: учить тебя Покрову. Мастер Корвиан не сказал, что ты будешь есть мебель.

* * *

Я пришёл на Шпиль из-за Варда.

Через неделю после ночи с солевозом я поднялся к нему на галерею и постучал в дверь. Вард открыл не сразу — я слышал, как он идёт к двери медленно, тяжело, будто несёт что-то.

— Лесоруб.

— Вы сказали: год, — начал я. — Учиться. Расти. Стать Канделом, — я сглотнул. — Я не умею ничего из того, что умеют маги. Чутьё — и то еле-еле. Покров — нет. Приглушение — нет. Закалка — нет. Меня учили только жуки и

Уна. И Корр. — Пауза. — Кто научит?

Гильдмастер смотрел на меня правым глазом. Левый, белый, глядел мимо, в темноту галереи.

— Покров, — наконец произнёс он, — лучше всех в Истмаре ставят на Шпиле. Корвиан сорок лет учит ему мальчишек из хороших домов, — уголок рта у него дёрнулся. — Иди к Корвиану.

— Он… согласится?

— Он должен мне три бочки вина, — ответил Вард. — Согласится.

Я так и не узнал, сколько бочек вина должен Варду весь мир. Осс — две. Корвиан — три. Наверное, если бы Вард однажды решил собрать долги, он мог бы открыть кабак.

* * *

Покров, объяснял Лориан, — это просто.

Мы стояли в учебном зале на третьем ярусе башни. Круглый, высокий, с узкими окнами и деревянным полом, исполосованным свежими и старыми порезами. Стены были обиты войлоком. Наверное, чтобы ученики, отлетая, не ломали себе головы.

— Эфир внутри тебя течёт, — начал Лориан. — Ровно, как вода в трубе. Когда ты плетёшь жука — ты выпускаешь воду из трубы наружу. Нитями. Даёшь ей форму. Правильно?

— Правильно.

— А Покров — это не выпустить. Это вывести наружу и

оставить на коже. Тонко. Ровно. Как масло на сковороде. Не форма — плёнка, — он поднял руку. — Смотри.

Я посмотрел через Чутьё. Ничего не изменилось — рука как рука, длинные пальцы, мозоли от рукояти. А потом я увидел. Не глазами. Вокруг ладони наставника, на коже, плотно, как перчатка, лежало что-то. Тонкое, едва заметное, прозрачное, как воздух над горячим камнем.

— Держит слабый удар магией, — пояснил Лориан. — И нож. Если не со всей силы. Если со всей — порежет, но меньше. Стрела отскочит, если на излёте. Кулак — почти не почувствуешь. Для Кандела — первое, чему учат. Для Тиара — трудно, но можно. Покажи.

Я поднял руку.

Вывести эфир наружу. Не нитями. Плёнкой. Тонко. Ровно.

Я попробовал.

Эфир вышел. Я почувствовал, как он течёт — из-под грудины, по руке, к ладони, к коже. И там, на коже, остановился. Растёкся. Лёг.

На полвдоха.

А потом эфир сделал то, что делал всегда, всю мою жизнь, с того дня, как я впервые сплёл бурого в отцовском дворе. Он захотел стать жуком.

По моей ладони — по самой коже — пробежало шевеление. Плёнка эфира собралась в бугорки. Бугорки вытянулись. У бугорков появились ножки. Маленькие, тонкие, по

шесть на каждом. И через вдох у меня на ладони сидели восемь крошечных бурых жучков размером с ноготь — прозрачных, недоделанных, — и бегали по пальцам.

Лориан смотрел на жучков.

— Хм, — протянул он.

Жучки посмотрели на него. Потом разбежались — кто по рукаву вверх, кто вниз, на пол. Один прыгнул Лориану на сапог и начал грызть шнурок.

Ученики, стоявшие у дверей зала — их было пятеро, они пришли «посмотреть на лесоруба», — захохотали.

— Ну, — заключил Лориан, стряхивая жучка с сапога, — это не Покров.

— Я заметил.

— Это… — Кандел подумал. — Это, наверное, Покров порождающего. Я такого не видел. Я не видел порождающих, которые учатся Покрову. Их вообще мало, — он вдруг улыбнулся. Широко, по-мальчишески. — Корвиан будет в восторге.

* * *

Корвиан не был в восторге. Корвиан стоял на галерее над учебным залом, опираясь на трость, и смотрел вниз, как смотрят на дождь, который не собирается кончаться.

— Порождающий, — произнёс он, когда Лориан доложил. — Конечно. Его эфир хочет стать телом. Всегда. Это его природа, — старик постучал тростью по перилам. — Ему надо не выводить эфир наружу. Ему надо запретить эфиру хотеть.

— Как?

— Не знаю, — ответил Корвиан. — Я не порождающий, — он посмотрел на меня. Долго, холодно, лицом старого орла. — Тиар. Налитый. Ещё полгода — может, меньше. — Пауза. — Учи, Хейз. Раз в два дня. Пока не научится или пока не съест весь Шпиль.

Глава Шпиля ушёл. Трость стучала по каменной галерее, удаляясь.

— Это он так радуется, — шепнул Лориан. — Честное слово. Когда он недоволен, он молчит.

* * *

Я ходил на Шпиль три недели. Раз в два дня, через весь город — от моста по набережной, мимо Дёгтевой пристани, мимо рыбного рынка, вверх по Кожевенной улице, где Сорен когда-то жил у Мамаши Клэй. Люди на улицах начали узнавать меня. Торговка рыбой у моста здоровалась. Мальчишки с рынка бежали следом и спрашивали, правда ли, что я в Аэвене прогрыз Реестр насквозь. Один раз пьяный грузчик у пристани предложил мне выпить «за мост лесоруба», и я так и не понял, откуда он знает про дощечку у оврага.

Лориан учил хорошо. Терпеливо, с шутками, иногда — с подзатыльниками ветром, когда я отвлекался. Над жучками наставник не смеялся. Ученики Шпиля смеялись — первую неделю. Потом привыкли. Потом стали приходить смотреть, сколько вылупится сегодня. Делали ставки. Один рыжий парень с двумя чертами на куртке выиграл за неделю четыре

сола, ставя на «больше десяти».

Я злился.

Не на них. На себя. На эфир, который не слушался.

Корвиан сказал: запретить эфиру хотеть. А как запретить реке течь вниз? Как запретить дереву расти вверх? Мой эфир всю жизнь становился жуками. Он знал только это. Я выводил его на ладонь — и он, как собака, которую вывели на прогулку, тут же бежал туда, куда бегал всегда.

На второй неделе я сделал так, что жучки не вылупились. Эфир лёг на ладонь плёнкой, ровно, и я держал его — изо всех сил держал, как держат за ошейник собаку, рвущуюся к кошке. Плёнка дрожала. Бугрилась. Но держалась.

Лориан ударил её сквозняком.

Тонкое воздушное лезвие, едва заметное, — Лориан бил им вполсилы, я видел. Лезвие прошло по моей ладони.

Плёнка лопнула. По ладони прошла красная полоса — неглубокая, как от осоки.

— Уже лучше, — похвалил Лориан. — Неделю назад ты бы остался без пальца.

— Неделю назад ты бил бы вполсилы?

— Неделю назад я бы вообще не бил. Жалко было бы, — он протянул мне платок. — Ещё раз.

* * *

На третьей неделе — получилось.

Это было не как с железным жуком, когда понимание пришло разом, вспышкой. Это было медленно. Как растёт дере-

во. Однажды утром я вывел эфир на ладонь, и он лёг, и не захотел. Просто лёг. Тонкой плёнкой, как масло на сковороде. Не бугрился. Не дрожал. Лежал, будто так и надо.

Я понял не сразу. Всё ждал, что сейчас полезут ножки.

Ножки не полезли.

— Лориан, — позвал я.

Наставник посмотрел. Брови у него поднялись. Он ничего не сказал. Просто поднял руку и ударил сквозняком — вполсилы, как всегда.

Лезвие прошло по моей ладони. И соскользнуло. Как соскальзывает нож по мокрому стеклу.

Ни полосы. Ни царапины. Только лёгкий зуд, будто провели пером.

Ученики у двери замолчали.

— Ещё раз, — попросил я.

Лориан ударил в полную силу.

Плёнка лопнула. Ладонь располосовало — неглубоко, но до крови. Но это была полная сила Лориана Хейза, Кандела Высокого Шпиля, который в прошлый Турнир дошёл до Чаши. И полоса была в половину той, что осталась бы без Покрова.

Кандел смотрел на мою ладонь. Потом на меня.

— Три недели, — проговорил он. — Мне понадобилось четыре месяца. А я из хорошего дома, — Лориан покачал головой. — Порождающий, который учится Покрову, учится не тому, что все. Он учится, как запретить себе быть собой.

Это трудно, лесоруб. Это очень трудно.

— Это только ладонь, — возразил я.

— Это только ладонь, — согласился Лориан. — Дальше — рука. Потом — грудь. Потом — всё тело. К зиме, если не съешь Шпиль, будешь закрыт весь. Тонко. Но весь.

Рыжий парень у двери вздохнул и отдал кому-то сол. Наверное, ставил на «больше десяти».

* * *

Вечером, на площадке, я рассказал об этом Рии.

Подруга сидела на краю, свесив ноги к воде, и держала левую ладонь над водой. Ладонь светилась. Тускло, красно, как угли под пеплом. Тёмные линии под кожей — пять к пальцам, одна поперёк — проступали ярче, чем днём. Рия не могла спать. Как я. Только у неё было хуже: у меня звенели нити, а у неё по ночам горела рука. Не обжигала — грела. Сильно. Так, что Иса, с которой они делили комнату на галерее, через неделю велела ей спать отдельно, «потому что у меня от твоей руки подушка задымилась».

Теперь Рия спала у Дорна. Внизу, у самой воды, в его нижней комнате, на старой лавке. Старик не возражал. Он вообще ни против чего не возражал. Дорн, по-моему, был даже рад: у него в комнате стало теплее.

— Только ладонь, — повторила Рия, когда я закончил. — А дальше — весь?

— К зиме.

— А потом?

— Потом Кандел, — я подумал. — Наверное.

Девушка смотрела на воду.

— А меня? — спросила она.

Я не понял.

— Ты сказал — Покров на коже, — пояснила Рия. — На своей. Тонко. Весь, — она подняла левую руку. Красные угли под кожей. — А если бы в тот раз, в парке, когда я держала Лейна… если бы ты мог закрыть меня? Не себя. Меня. Мою руку, — она сжала пальцы. — Ты бы закрыл?

Я смотрел на её руку. На тёмные линии под кожей. На то, что от неё осталось после пяти вдохов огня Лейна.

— Закрыл бы, — ответил я.

— А можно?

— Лориан говорит — нет. Покров — только на себя. Других закрывают барьерщики. Щитовики. Это другой почерк.

— Другой почерк, — повторила Рия. — Понятно.

Рия опустила руку. Красный свет погас — медленно, как гаснет уголь, когда на него перестаёшь дуть.

— Это глупо, — вдруг вырвалось у меня. Сам не ожидал. — Почему только себя?

— Что?

— Покров. Почему только себя? — я сжал кулак. Ладонь ещё помнила плёнку — тонкую, послушную. — Я могу сплести жука и отправить его за двести шагов. Я могу сплести вдову и вытащить человека из реки. Я могу держать железного на заклёпке, пока его пьёт ошейник. Почему я не могу

закрыть того, кто рядом?

Рия долго смотрела на меня.

— Не знаю, — наконец ответила она. — Но ты злишься. А когда ты злишься, ты обычно что-нибудь придумываешь.

* * *

Посылка из Аэвена пришла на исходе третьей недели.

Её привёз почтовый дилижанс — тот самый, на котором мы вернулись, — и возница, сгружая её на площадку, ругался так долго и так изобретательно, что Сорен записал два новых выражения. Посылка была деревянным ящиком, обмотанным мешковиной и перевязанным бечёвкой. На мешковине кто-то углём написал крупными, неровными буквами: «ЛЕСОРУБУ. ИЗ-ПОД МОСТА. ИСТМАР. НЕ ТРЯСТИ. НЕ ПОЛИВАТЬ ВИНОМ».

Внутри — горшок. Глиняный, тяжёлый, с землёй. В земле — растение.

Чёрное. Бархатные листья, тёмные, как ночь без звёзд, с серебряным пушком по краю. Будто кто-то вырезал листья из чёрного бархата и обвёл их инеем.

Тенелист.

Под горшком лежали два письма. Одно — на обрывке какой-то садовой ведомости, мелким сердитым почерком:

«Лесорубу. Для вашего лекаря. Если нет лекаря — для того, кто плохо спит. Две капли сока — сон. Три — долгий сон. Четыре — не надо. Ставить у окна. Не поливать вином, как делал Вард. Дуб пустил новый побег из дупла. — Осс».

Второе — на хорошей бумаге, ровными буквами плотника, который пишет редко и потому старательно:

«Тэйну, лесорубу. Лестницу Одде доделал. Брам крышу покрыл, уехал домой, сказал — к Турниру вернётся, если накормят. Одда сказала — накормит. Мастерскую ставлю заново. Доску держу на верстаке. Йенс снится. Вейре скажи — пусть ест. Тамм».

Я прочёл оба письма вслух. За столом. Все слушали.

Вейра, когда я дочитал, встала и ушла к себе на галерею. Через вдох вернулась. Села. Взяла ложку. И съела всю миску Униной похлёбки. Не поморщившись.

— Отец велел, — пояснила она, поймав взгляд Сорена.

* * *

Тенелист я поставил у окна в комнате Дерека. Где Осс велела.

Ночью я проснулся от того, что звенели нити. Обычно — все десять разом, ровно, как струны. Сейчас звенела одна.

Вдова.

Я держал её на запястье почти всегда — по привычке, с тех пор как в водоводе под Сводом она вязала Эдрику Вэлмонту лубок на сломанную ногу. Одна жемчужная вдова, тихая, лёгкая, на двух нитях. Она спала у меня на руке, как спит кошка на подоконнике.

Теперь паучиха не спала. Она сидела на краю запястья и тянулась. Всем телом, всеми восемью ногами — к окну. К горшку. К чёрным бархатным листьям, серебрившимся в

лунном свете.

Я вспомнил оранжерею Осс. Весну. Как вдова тянулась к тенелисту тогда — так же, всем телом, и мне во рту стало горько до слёз, и я отозвал её. И Осс сказала: «Тенелист любит, когда его пьют. Потом не отпускает».

Я сел на лавке. Смотрел на вдову.

— Нет, — сказал я ей.

Вдова замерла. Повернулась ко мне. Восемь глаз-бусин, жемчужных, тусклых в темноте. Нити между нами дрожали.

Не просьба. Не каприз. Я чувствовал это через нить — как чувствуешь через верёвку, что на том конце не ребёнок тянет, а течение. Ей было нужно. Так нужно, как нужно воды в жаркий день.

Я встал. Подошёл к окну. Вдова на запястье дрожала.

Я поднёс руку к листу. Не касаясь. На ладонь от него.

— Одну каплю, — разрешил я. — Одну. Поняла?

Вдова прыгнула.

Села на лист. Обхватила его ногами. Опустила голову к серебряному пушку на краю — и я почувствовал, как через нить, через запястье, через руку мне в горло хлынула горечь. Густая, тёмная, вязкая, как дёготь. Горько до слёз. Как тогда, в оранжерее.

Одна капля.

— Хватит, — велел я.

Паучиха не отпустила.

— Хватит!

Я дёрнул нить. Сильно, как дёргают поводок. Вдова отлетела от листа, упала мне на ладонь, сжалась в комок. Нить между нами звенела, как натянутая струна.

Я посмотрел на неё.

Она изменилась.

Жемчужное тело, перламутровое, как всегда. Но по брюшку, от головы к паутинным бородавкам, шла новая полоса. Тонкая. Тёмная. Чёрно-зелёная, как сок тенелиста. И на кончиках передних лапок — по капле. Крошечной, тёмной, блестящей.

Вдова смотрела на меня. И сквозь горечь во рту я почувствовал через нить: ещё. Хочу ещё.

Я отозвал её. Совсем. Магическое насекомое распалось жемчужной пылью у меня на ладони, и горечь ушла. Не сразу — медленно, как уходит вкус полыни.

Я стоял у окна в темноте. Тенелист серебрился. Нити звенели.

Три капли — долгий сон, писала Осс. Четыре — не надо.

* * *

Утром я сплёл вдову заново.

Паучиха вылупилась у меня на ладони жемчужной, перламутровой, обычной. Без тёмной полосы. Без капель на лапках.

Я выдохнул.

А потом вдова повернулась к окну. К горшку на подоконнике. И потянулась.

* * *

Сорен вернулся с Дёгтевой пристани к ужину, и вид у него был не такой, как обычно, когда он возвращался с Дёгтевой пристани.

Обычно товарищ возвращался весёлым, слегка пьяным, с новыми ругательствами и полным карманом чужих медяков, выигранных в кости у грузчиков. Сегодня он был трезвым. И не улыбался.

Сорен сел за стол напротив меня. Налил себе похлёбки. Есть не стал.

— На пристани, — начал он. — У складов Греты. Трое. Не местные. Не серые, — он покрутил ложку. — Ходят по кабакам. Спрашивают про девчонку. Белую. Говорят — «белую», не «беглую». Платят хорошо. Серебром. Новым, блестящим, только из чеканки.

Тиль, сидевшая рядом с Уной, перестала есть.

— Как выглядят? — спросил я.

— Как люди, которые бьют за деньги, — ответил Сорен. — Только у одного на поясе плеть. Свёрнутая. Белая, — он посмотрел на Тиль. — Не кожаная. Плетёная из чего-то, что блестит. Как иней.

Девочка побелела. Медленно, от губ к щекам, будто кто-то стёр с её лица краску.

— Соль, — проговорила она. Тихо, почти беззвучно — тишина вокруг неё дрогнула и сгустилась. — Это соль. Такими бьют у столбов. Тех, кто вспыхивает.

Уна положила руку ей на плечо.

— Кто им платит? — спросила старуха у Сорена.

Товарищ вынул из кармана монету. Положил на стол. Новенькую, серебряную, блестящую. На одной стороне — профиль Императора. На другой, там, где обычно чеканят герб города, — солнце над тремя башнями.

Монета дома Орре.

— Один из них разменял её в кабаке, — пояснил Сорен. — Я разменял её обратно, — он посмотрел на меня. — Лесоруб. Они не придут с красной печатью. Им не надо.

Глава 4

— Нет, — сказала Иса.

— Ты ещё не слышала, что я предлагаю.

— Я слышу, как ты дышишь. Ты дышишь, как человек, который сейчас предложит глупость, — счетовод закрыла книгу гильдии и положила на неё ладонь, будто книга могла убежать. — Говори.

Мы сидели за длинным столом в общей комнате — все, кто был под мостом. Бо на своём диване, который снова стал его диваном, потому что Тиль перебралась на галерею, к Вейре. Корр с лупой, без бровей — они отросли на палец. Уна у котла, с трубкой. Дорн у двери. Сорен, Рия, Лейн, Тоби, Пип. Вейра с пером. Тиль — между Уной и Вейрой, маленькая, смуглая, с медной пластиной под ошейником.

Вард не пришёл. Дверь на галерее была закрыта. Но я знал, что гильдмастер слышит: в своде над столом была отдушина, которая вела прямо к его комнате, и Сорен однажды проверил — уронил ложку, и из отдушины сказали «Подними».

— Они ищут белую девчонку, — начал я. — Трое. С солёной плетью. Платят серебром Орре. Красная печать им не нужна. Значит, они придут ночью. Сюда.

— Пусть приходят, — пробасил Бо.

— Сюда — к Варду, — возразил я. — К Уне. К Тоби. К

Пипу. Под мост, где котёл и дети, — я посмотрел на Уну. — Я не хочу, чтобы они пришли сюда.

Уна молчала. Курила.

— Я хочу, чтобы они пришли туда, где я их жду, — продолжил я. — На Дёгтевую. К Грете. В её склад.

* * *

Иса не перебивала. Это было плохим знаком: Иса не перебивала, когда собиралась разнести тебя целиком, а не по кускам.

— Склад Греты, — произнесла она, когда я закончил. — Деревянный. Двухъярусный. Набитый бочками с дёгтем. На Дёгтевой пристани, где каждый второй склад — деревянный и набитый дёгтем, — Иса сделала паузу. — И ты хочешь устроить там драку. Ночью. С людьми, у которых плеть из соли, — она посмотрела на Лейна. — И взять с собой огневика.

Лейн вжал голову в плечи.

— Я не могу его не взять, — ответил я. — Я поручитель. Палата сказала: поручитель отвечает. Если я на Дёгтевой, а он здесь, и что-то случится — отвечаю я, а платим мы. Пять ауреонов. Год, — я посмотрел на Лейна. — И он не подожжёт.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что он считает.

Мальчик поднял голову. Посмотрел на меня. Потом на Ису.

— Раз, — тихо, но ясно произнёс он. — Я держу.

Иса долго смотрела на него. Потом на меня.

— Не горько, — наконец сказала она, будто признавала поражение. — Кисло. Он сам не знает, удержит ли. Но хочет.

— Этого хватит.

— Этого никогда не хватает, лесоруб, — Иса открыла книгу. Обмакнула перо. — Но это то, что у нас есть.

* * *

Грета Пайк встретила нас у ворот своего склада, вытирая чёрные от дёгтя руки о чёрный от дёгтя фартук.

— Бо, — поприветствовала она. — Сколько лет.

— Два, — ответил великан.

— Два года, — согласилась Грета. — Ты тогда мне лодку вытащил. Два сола, — хозяйка склада оглядела нас всех — меня, Сорена, Рию, Лейна. — А теперь вы хотите мой склад. Ночью. Для драки.

— Не для драки, — поправил я. — Для ловли.

— Ловля — это когда рыба, — Грета прищурилась. — А у вас, я слышала, рыба с плетью.

Мы договорились за три сола и обещание. Три сола — из тех, что Магистрат заплатил за «Щучий плёс» прошлой зимой и которые Иса держала в отдельном мешочке «на чёрный день». Обещание — что ни одна бочка не загорится.

— Ни одна, — пообещал я.

— Если загорится одна, — предупредила Грета, — загорится вся пристань. А за ней — Рыбный рынок. А за ним —

полгорода, — она посмотрела на Лейна. Долго, тяжело. — Я слышала, мальчик, что ты в Аэвене сжёг квартал.

Лейн побелел.

— Он не сжёг, — вступилась Рия. — Его сжигали. Это разница.

Грета посмотрела на неё. На её левую руку в перчатке. Рия теперь всегда носила на левой руке перчатку — кузнечную, отцовскую. Чтобы никто не видел линий. И чтобы не дымились вещи, к которым она прикасается.

— Разница, — повторила хозяйка. — Ладно. Три сола. И если загорится — платите не мне. Платите пристани.

* * *

Сорен пустил слух на закате.

Товарищ пошёл по кабакам у реки — «Кривой Гвоздь» за рыбным рынком, «Три якоря», «Пьяную щуку», — где пил с грузчиками уже два года, и в каждом проигрывал немного в кости, и в каждом, проигрывая, ворчал. Громко, на весь кабак.

— Девчонку эту теперь прячем, — жаловался он. — Белую. У Греты на складе. Потому что Вард, видите ли, не хочет, чтобы под мостом. Он, видите ли, старый. Ему, видите ли, тишина нужна. А мне — сиди всю ночь на складе с дёгтем, сторожи…

Сорен вернулся к Грете, когда стемнело. С разбитой губой — кто-то в «Пьяной щуке» не поверил, что он проиграл честно.

— Слышали, — сообщил он, вытирая кровь. — Все трое. Один был в «Трёх якорях», с плетью. Смотрел на меня так, будто мерил гроб, — Сорен ухмыльнулся. — Придут. Сегодня. Я по глазам видел.

* * *

Склад Греты был длинный, высокий, двухъярусный. Нижний ярус — бочки, ряд за рядом, до самых стропил, дубовые, чёрные от подтёков. Дёготь, смола, вар. Запах стоял такой, что резало глаза. Верхний ярус — галерея по периметру, дощатая, с перилами, и на ней — бочки поменьше, мешки с паклей.

Дерево. Всё дерево. Стены, полы, стропила, бочки, балки.

Для меня это было не опасностью. Для меня это было сетью.

Я посадил бурых. Пятерых. Одного — в главную балку под крышей, от которой расходились стропила. Одного — в косяк ворот. Одного — в столб у задней двери. Двоих — в половицы галереи, с разных концов. Они вгрызлись в дерево и замерли там, как сучки, и через них я слышал склад. Весь. Каждый шаг по доскам, каждый скрип.

Пять бурых — пять нитей. Ещё пять у меня оставалось. Одна — на вдову, которая сидела у меня на запястье. Две — на осу, которую я держал под курткой, в рукаве, тёплую и злую. Две — свободны. На крайний случай.

Вдова на запястье была не та, что неделю назад.

Каждую ночь эту неделю я подносил её к тенелисту. На

одну каплю. Ровно на одну. Паучиха пила, мне во рту становилось горько, и я отдёргивал её — каждый раз силой, каждый раз она сопротивлялась. И каждое утро, когда я сплетал её заново, на брюшке у неё уже была тёмная полоса. Тоньше, чем в первую ночь, но была. Будто вдова сама помнила дорогу к листу.

На четвёртый день Корр осмотрел её. Долго, с расширенными зрачками.

— Она запомнила, — заключил алхимик. — Плетение запомнило. Ты теперь плетёшь не жемчужную вдову. Ты плетёшь вдову, которая пила тенелист. Это другое плетение, — он поморщился. — Как с железным. Ты сделал железного с первой нити — и теперь он железный. Ты дал вдове яд — и теперь она ядовитая.

— Она хочет ещё.

— Вижу, — кивнул Корр. — Это цена, — он сощурился. — Не давай больше одной.

Я не давал. Каждую ночь — одну. И каждую ночь горько.

* * *

Рия сидела на верхней галерее, в дальнем конце, у окошка, выходившего на реку. В белом.

Это была идея Сорена. Он сказал: «Им нужна белая девчонка. Значит, им надо увидеть белую девчонку». И Рия надела белую рубаху Исы, и обсыпала мукой лицо и волосы — Уна дала муку, ворча, что из неё можно было испечь хлеб, — и теперь сидела у окошка, сгорбившись, и при свете одино-

кой свечи была похожа на Тиль ровно настолько, насколько надо было, чтобы её увидели с улицы.

— Если кто-нибудь когда-нибудь узнает, — проворчала она, когда я сажал бурых, — что я сидела в муке ради твоего плана…

— Никто не узнает.

— Сорен узнает. Сорен уже знает. Сорен смеётся.

И он смеялся. Сорен сидел на стропиле над главными воротами, в темноте, свесив ноги, и смеялся беззвучно, вытирая глаза.

Лейн сидел рядом со мной. Внизу, у задней двери, за бочкой. Мне нужно было, чтобы он был рядом — на расстоянии вытянутой руки. Огонька у него на ладони не было. Мальчик держал ладони между коленями, сжатыми, и тихо шевелил губами.

— Ты в порядке?

— Здесь всё горит, — прошептал он. — Если я… если вдруг…

— Не вдруг, — возразил я. — Ты держишь.

— А если не удержу?

Я посмотрел на него. На двенадцатилетнего мальчишку из Нижнего Солончака, который сжёг полквартала в Аэвене, потому что его огонь был больше, чем он сам. Который сейчас сидел в деревянном складе, набитом дёгтем, и боялся сам себя больше, чем людей с плетью.

— Тогда я поймаю, — пообещал я. — Светляками. Как

в парке.

Свободных нитей на светляков у меня не было. Только две. Двух светляков не хватит на весь его огонь.

Лейн кивнул. Поверил.

Мне стало стыдно. И я решил, что это не важно, потому что вспыхнуть он не должен.

* * *

Они пришли в полночь.

Бурый в косяке ворот услышал первым. Шаги. Трое. Нет — четверо. Мягкие, в сапогах без подковок. Остановились у ворот. Шёпот.

Потом ворота скрипнули.

Не открылись — их отжали. Ножом, медленно, снимая с петель. Бурый в косяке чувствовал, как нож скребёт по дереву у самой его головы.

Трое вошли. Четвёртый остался снаружи.

Я слышал их через бурых. Первый — лёгкий, быстрый, шёл налево, вдоль бочек. Второй — тяжёлый, шаркающий, направо. Третий — посередине. Медленно. Ровно. И что-то тихо шуршало у его пояса — как шуршит иней, когда по нему проводишь пальцем.

Плеть.

Они увидели свечу на галерее. Остановились. Шёпот — я не разобрал слов, но разобрал тон: нашли.

Средний поднял руку. Двое по бокам двинулись к лестницам на галерею — к двум лестницам, с двух концов.

Сорен на стропиле перестал смеяться.

* * *

Первым ударил Сорен.

Товарищ упал со стропила, как падает ястреб, — бесшумно, на полвдоха раньше, чем лёгкий успел поставить ногу на первую ступень. Рукоять ножа — в основание шеи. Лёгкий охнул и сел на ступеньку, держась за затылок.

Тяжёлый на другой лестнице обернулся на звук. Я отпустил осу.

Оса вылетела из моего рукава — жёлтая, злая, — пронеслась через склад, низко, как пущенный камень. И ужалила тяжёлого в запястье. В ту руку, в которой был нож.

Тяжёлый закричал. Нож упал на доски. Здоровяк схватился за руку и сел на ступеньку, качаясь, белый от боли.

Средний не закричал. И не обернулся.

Он поднял руку — и плеть развернулась.

Она была длинной, шагов в пять, тонкой, как бечёвка, и белой. Не кожаной. Плетёной из чего-то, что блестело в свете свечи, как иней. Плеть прошла по воздуху с тихим шуршанием.

И ударила осу.

Оса была на обратном пути — ко мне, чтобы ужалить второй раз. Плеть настигла её в воздухе, в трёх шагах от моего лица. Обвила. На полвдоха.

Магическое насекомое остановилось. Не упало — остановилось в воздухе, как муха в янтаре. И побелело. От кончи-

ков крыльев к брюшку, от брюшка к голове — белой коркой, как соль на краю кадки.

Оса упала на пол. Со звуком, с которым падает камешек.

Разбилась.

Удар отдачи пришёл не в голову — в горло. Сухой, жгучий, будто меня заставили проглотить горсть соли. Я закашлялся. Нить, которая держала осу, не лопнула — её выпили. До самого узелка у меня под грудиной.

Средний повернулся.

* * *

Незнакомец был невысокий, жилистый, с тёмным обветренным лицом. Южным — как у Тиль, как у Лейна. Глаза светлые, почти белые, выцветшие, как выцветают глаза у людей, которые много лет смотрят на белое.

Он увидел меняза бочкой. И Лейна.

— Лесоруб, — произнёс он. Голос был сухой, хриплый, с южной растяжкой. — Нам сказали, будешь ты.

— Вам правильно сказали.

— Нам сказали — живым, — он намотал плеть на руку. Неторопливо, кольцо за кольцом. — Сказали: если вмешается лесоруб с жуками — его тоже живым. Смотритель хочет посмотреть.

— Какой смотритель?

Ответа не было. Вместо него — удар.

Плеть прошла над бочкой, низко, туда, где я сидел. Я нырнул. Плеть хлестнула по бочке — и дубовая клёпка побеле-

ла. На ладонь. Коркой. Соль проступила сквозь дерево.

Бурый в столбе у задней двери вскрикнул через нить. Корка пошла по бочке — к столбу, к нему.

Я отпустил его. Сам. Раньше, чем соль успела его выпить. Отдача — на этот раз обычная, удар в голову, — и я сел за бочкой, держась за висок.

Человек с плетью шёл ко мне. Медленно, ровно, разматывая плеть.

И тут закричал Лейн.

* * *

Мальчик не хотел кричать. Я видел его лицо — он зажимал рот обеими руками. Но огонь не спрашивал.

Огонь вышел из-под его ладоней. Из-под пальцев, прижатых к губам. Рыжий, яркий, злой. Лейн отдёрнул руки от лица — и на каждой ладони горело. Не огонёк с орех. Пламя. С кулак. С два. Оно росло.

— Раз! — прохрипел Лейн. — Я… держу… я…

Бочка у его плеча задымилась.

Средний остановился. Посмотрел на Лейна. На огонь. На бочки с дёгтем вокруг.

И впервые попятился.

Сверху, с галереи, прыгнула Рия.

В белой рубахе Исы, с лицом в муке — она пролетела мимо бочек и упала на колени рядом с Лейном, так, что доски загудели. Стянула с левой руки кузнечную перчатку. Отшвырнула.

И положила ладонь мальчику на руку.

Не на плечо. Не рядом. На руку. Прямо в огонь.

Тёмные линии под её кожей вспыхнули. Красным, как угли под мехами. И огонь Лейна — рыжий, злой, растущий — потёк. Не вверх, не к бочкам. К ней. В её ладонь. Как вода в песок.

Рия зажмурилась. Губы у неё побелели.

— Два, — процедила она сквозь зубы.

— Два, — повторил Лейн, глядя на неё огромными глазами. — Я держу.

— Три.

— Три. Оно моё.

Огонь на его правой ладони погас. На левой — стал меньше. С орех. С горошину. Погас.

Рия открыла глаза. Ладонь у неё светилась красным. Дымилась — тонко, как дымится остывающий горн. Но не горела. И не обжигала. Девушка держала.

Держала чужой огонь. Не голой рукой, не пять вдохов, как в парке. А в руке. Внутри.

— Печать горна, — хрипло произнесла Рия и засмеялась — коротко, удивлённо. — Она… он… он берёт.

Бочка у плеча Лейна дымилась. Но не горела.

* * *

Средний отвёл глаза от Рии раньше, чем я.

Он был умный. Понял, что огня не будет, — и пошёл. Не ко мне. К Лейну. Плеть поднялась.

Мне оставалось три нити. Вдова — две. Ещё одна.

Я отпустил вдову.

Паучиха прыгнула с моего запястья не к нему — к стропилу над ним. Бросила нить. Жемчужную, почти невидимую в полутьме. Спустилась по ней вниз — прямо ему на плечо.

Человек с плетью почувствовал. Дёрнул плечом. Поднял руку, чтобы стряхнуть.

Вдова укусила его в шею.

Я почувствовал это через нить. Горечь — густую, как сок тенелиста, — во рту. И ещё что-то. Тепло. Как вода, которая уходит из пальцев в чужую кровь. Одна капля. Две.

Южанин замер на полушаге. С поднятой рукой. С плетью, развёрнутой в воздухе.

Моргнул. Медленно. Очень медленно.

И упал.

Не как падает человек, которого ударили. Как падает человек, который очень устал. Мягко, сначала на колени, потом набок, на доски, подложив под щёку руку с плетью. Глаза закрылись. Рот приоткрылся.

И он захрапел.

Громко. На весь склад. С присвистом, как храпит дед Брама после ужина. Как храпит человек, который только что получил в шею две капли тенелиста и теперь будет спать до утра, и до обеда, и, может быть, до вечера.

* * *

Тишина в складе была недолгой.

— Лесоруб, — позвал Сорен. Он стоял над лёгким, который всё ещё держался за затылок на ступеньке. — Это что?

— Вдова.

— Он спит.

— Да.

— Он храпит.

— Слышу.

Сорен смотрел на спящего. Плеть лежала рядом с ним, свёрнутая, белая, тихо шуршащая. Южанин храпел.

— Лесоруб, — торжественно произнёс Сорен. — Я тебя люблю. Ты знаешь это?

Тяжёлый на другой лестнице, всё ещё держась за ужаленную руку, посмотрел на спящего, на Сорена, на Рию в муке, на меня. И очень медленно поднял здоровую руку вверх. Сдавался.

Вдова сидела на шее спящего. И тянулась. Не ко мне — к нему. К его шее. Ещё капля. Две. Три.

Горько во рту. До слёз.

Я дёрнул нить. Сильно. Паучиха сопротивлялась — я чувствовал, как она цепляется лапами за кожу, как через нить идёт её «хочу», жадное и тёмное. Я дёрнул ещё раз.

Вдова отпустила.

Вернулась ко мне по жемчужной нити. Села на запястье. Сжалась в комок. На брюшке — тёмная полоса, шире, чем утром. На кончиках передних лапок — капли. Две.

Три капли — долгий сон. Четыре — не надо.

Я отозвал её. Совсем. Пусть лучше утром сплету заново.

* * *

Четвёртый, тот, что остался снаружи, — нашёлся сам.

Мы вышли из склада с тремя связанными — спящего несли вдвоём, Сорен и я, он храпел у нас на руках, — и увидели четвёртого. Он лежал у ворот. На мостовой. Аккуратно. На спине, с руками, сложенными на груди, как складывают покойников. Только покойником он не был. Он дышал. И смотрел в небо широко открытыми глазами, и не моргал.

Над ним стоял Горст.

Огромный, лысый, с обожжённым ухом, в тёмной куртке. Он стоял, сложив руки за спиной, и смотрел на лежащего так, как смотрят на дождь.

— Был снаружи, — сообщил Горст.

Это было первое, что я услышал от него за всё время. Голос — низкий, глухой, будто из бочки.

— Что вы… — начал Сорен.

Горст повернулся и ушёл, не ответив. Широким медленным шагом, по набережной, к мосту. Не оглядываясь.

Лежащий у ворот моргнул. Один раз. И снова уставился в небо.

Мы стояли и смотрели Горсту вслед.

— Я не видел, — наконец тихо произнёс Сорен. — Лесоруб. Я ничего не видел. Ни как он вышел. Ни как он… — товарищ показал на лежащего. — Я вижу всё на полвдоха раньше. А тут — ничего. Его не было — и он был.

* * *

Иса обыскала спящего прямо на площадке, при свете фонаря.

Нож. Кошель с серебром — двенадцать монет, все новые, с солнцем над тремя башнями. Огниво. Кусок сушёной рыбы, солёной так, что Корр, понюхав, чихнул. Плеть — её никто не стал трогать голыми руками; Корр унёс её в мастерскую на кочерге, держа на вытянутой руке.

И на шнурке на шее — бирка.

Медная, маленькая, с ноготь. На одной стороне — выбито: «ХЭЛМ». На другой — две буквы и слово:

«Смотритель. А. С.»

А в потайном кармане куртки, сложенный вчетверо, — лист. Плотный, белый, с белой печатью. Не серой, не красной — белой. Будто печать вырезали из соли.

Иса развернула. Прочла вслух, ровно, как читала всегда:

«Брюку. Белую 214 — вернуть живой. Мост не трогать: там Вард. Если вмешается лесоруб с жуками — тоже живым. Не калечить. Привезти. Хочу посмотреть, что он умеет. — А. С., смотритель копей Хэлма».

Иса опустила лист.

На площадке было тихо. Только Ярна шуршала у опоры. И храпел Брюк.

— Он знает про Варда, — нарушила тишину Иса.

— Он знает про меня, — добавил я.

— Он хочет на тебя посмотреть, — Иса сложила лист. Гу-

бы у неё были тонкими, как разрез. — Лесоруб. Я не знаю, как назвать этот вкус. Так пишут «хочу посмотреть» люди, которые привыкли писать «хочу купить».

Глава 5

Брюк проснулся через тридцать один час.

Иса считала. Она поставила на стол у лавки, где лежал связанный пленник, песочные часы — маленькие, на четверть часа, позаимствованные у Корра, — и переворачивала их каждый раз, когда песок кончался, и каждый раз ставила чёрточку в книге. К концу второго дня чёрточек было сто двадцать четыре.

— Двадцать четыре сверху — это ты задремала? — спросил Сорен, заглядывая ей через плечо.

— Это я ходила есть, — ответила Иса. — Пип переворачивал.

— Пип умеет считать до ста двадцати четырёх?

— Пип умеет считать до тысячи, — с достоинством отозвался мальчишка из угла. — Я до тысячи ставки считаю.

Брюк лежал на лавке в кладовой у Корра, внизу, у воды: в общей комнате он храпел так, что Уна не могла уснуть. Его подельников — тяжёлого с ужаленной рукой и лёгкого с ушибленным затылком — Бо ещё ночью отвёл в кордегардию Магистрата и сдал сержанту под расписку: «ночные воры, склад Пайк, Дёгтевая». Сержант посмотрел на Бо и расписался без вопросов.

Четвёртого, того, что лежал у ворот со сложенными руками, Горст увёл куда-то сам. Никто не спросил куда. Никто не

видел, как он вернулся.

Брюка мы оставили.

* * *

Пленник открыл глаза, моргнул и хрипло попросил:

— Воды.

Иса не шевельнулась. Счетовод сидела на табурете у лавки, с книгой на коленях, и смотрела на него.

— Воды не будет, — ответила она. — Будет вино. Или ничего.

Брюк повернул голову. Медленно, тяжело, как поворачивают голову после долгой болезни. Посмотрел на неё выцветшими глазами.

— Откуда… — начал он и осёкся.

— Твой смотритель не пьёт воду, — пояснила Иса. — Это было в твоей фляге. Вино. Разбавленное — вином. Ты пил из неё на складе, перед тем как отжать ворота. Пахло на весь склад, — она чуть наклонила голову. — Люди, которые служат кому-то долго, пьют то же, что хозяин. Это не правило. Это привычка.

Брюк молчал.

Я сидел у двери, на ступеньке, и смотрел. Это была не моя работа — допрашивать. Это была работа Исы. Но мне нужно было слышать.

— Смотритель Хэлма, — продолжила Иса. — Как его зовут?

— Не скажу.

— Горько, — покачала головой Иса. — Ты хочешь сказать. Тебе страшно, — она открыла книгу. — «А. С.» Начнём с первой буквы.

Брюк долго смотрел на неё. Потом на меня. Потом на свою связанную руку, в которой больше не было плети.

— Ардо, — наконец выдавил он. — Ардо Сейн, — южанин сглотнул сухим горлом. — Вы не понимаете. Он… он не злой. Он не кричит. Он никогда не кричит. Он… аккуратный. Он любит, чтобы всё было ровно. Ряды. Столбы. Числа, — Брюк закрыл глаза. — Однажды у него на глазах один из наших украл кусок белого хэлма. С палец. Сунул в рукав. Смотритель увидел. Подошёл. Взял его за руку. Сказал: «Это было неаккуратно».

— И?

— И рука стала солью, — ответил Брюк. — От пальцев до локтя. Белая, как столб. Он её отломил. Вот так, — пленник дёрнул связанными руками, будто ломал ветку. — И сказал: «Теперь ровно».

В кладовой было тихо. Вода плескалась у опоры за стеной.

— Почему он не пьёт воду? — спросила Иса.

— Не знаю, — признался Брюк. И Иса не сказала «горько».

* * *

Я рассказал Рие на площадке вечером, когда Иса закончила.

Подруга слушала, сидя на краю, в своей кузнечной пер-

чатке. Ладонь под перчаткой светилась — я видел это по щелям между пальцами, красный свет сквозь кожу, будто внутри перчатки лежали угли.

После склада Греты ладонь светилась постоянно. Не только ночью — днём тоже. Рия взяла огонь Лейна в руку, держала его там, пока он не погас, и с тех пор рука не остывала. Корр осматривал её дважды. В первый раз сказал «хм». Во второй — «Налилась. Как у лесоруба. Только у тебя не нити звенят. У тебя горн гудит».

— Значит, рука — в соль, — проговорила Рия. — И отломил.

— Да.

— И он хочет на тебя посмотреть.

— Да.

Девушка долго молчала. Потом сняла перчатку. Ладонь светилась в сумерках, как фонарь. Тёмные линии под кожей — пять к пальцам, одна поперёк — казались почти чёрными на красном.

— Завтра, — сказала она, — я иду домой. На хутор. Отец ждёт. — Пауза. — То есть отец не ждёт. Отец сказал «не приходи совсем». Но я обещала. Письмом. «Летом приду. Покажу». Сейчас лето, — Рия сжала пальцы, и свет погас, как гаснет свеча в кулаке. — Пойдёшь со мной?

— Я?

— Ты, — кивнула Рия. — И Лейн. Потому что ты поручитель, — она посмотрела на меня. — И потому что, если

отец меня выгонит, мне нужен будет кто-то, кто понесёт обратно мой мешок.

— У тебя будет мешок?

— Мать всегда даёт мешок, — грустно улыбнулась она. — Даже когда выгоняют.

* * *

Нас пошло четверо. Рия, я, Лейн — и Тоби.

Мальчишка не спрашивал. Он просто стоял утром у двери, с мелом в кулаке и узелком за плечом, в котором, как потом выяснилось, были три сухаря, рыбья голова для кота, которого он надеялся встретить по дороге, и кусок угля «чтобы рисовать на камнях». Уна посмотрела на него. Посмотрела на меня. Махнула рукой.

— Берите, — разрешила она. — Пусть посмотрит, что такое коровы.

— Я видел коров, — обиделся Тоби.

— Ты видел корову, — поправила Уна. — Одну. На рынке. Дохлую.

Мы перешли Ярну по Старому мосту, прошли через Южные ворота и пошли на юг, по пыльной дороге, через поля.

За Южными воротами я не был ни разу. Там начиналась другая земля — ровная, жёлтая от пшеницы, с хуторами, разбросанными, как горсть орехов по скатерти. Пахло пылью, сеном и коровами. Живыми.

Тоби останавливался у каждой изгороди. Смотрел на коров. Коровы смотрели на него. Одна подошла, обнюхала

мальчишку через жерди и лизнула в лицо. Тоби стоял, не шевелясь, с мокрой щекой, и на лице у него было выражение человека, которому только что вручили патент гильдии.

— Она меня поцеловала, — восхищённо прошептал он.

— Она тебя попробовала, — рассмеялась Рия. — Ты солёный.

Лейн смеялся. Он шёл рядом со мной, в широкополой соломенной шляпе, которую ему дала Уна, «чтобы не сгорел», и смеялся над Тоби, над коровами, над жаворонками, которые висели над полем и пели. Я ни разу не слышал, чтобы он столько смеялся.

— У нас так не было, — поделился мальчик. — У нас море. И соль. И рыба. Полей нет. Коров нет. Только козы. Козы злые.

— Скучаешь?

Лейн подумал.

— По морю — да, — ответил он. — По соли — нет.

* * *

Свёкла начиналась за третьим хутором.

Длинное поле, ровными рядами, — широкие тёмно-зелёные листья с красными прожилками, сочные, тяжёлые, будто их налили водой. На некоторых листьях были дыры. Круглые, аккуратные, как от шила.

— Жуки, — пояснила Рия. — Отец ругается каждое лето. Они едят свёклу. Мать собирает их в ведро и топит.

Тоби уже сидел на корточках у края поля.

— Лесоруб! — крикнул он. — Смотри! Жук с крышей!

Я подошёл. Присел рядом.

На листе свёклы сидел жук. Маленький, с ноготь мизинца. Плоский, круглый, как монетка. Зелёно-золотой. А по краю — прозрачный. Будто кто-то налил на зелёного жука каплю смолы, и смола растеклась вокруг него тонкой прозрачной каймой, и застыла. Сквозь кайму было видно красные прожилки листа. Ножки прятались под ней. Жук сидел так плотно, что его края касались листа, и казалось, что у него вообще нет ног — только крыша.

— Щитоноска, — сказала Рия. — Так мать их зовёт. Их не стряхнёшь. Прилипают краями, как присоски. Надо подцеплять ногтем.

Тоби подцепил. Жук отлип от листа с тихим щелчком и упал ему на ладонь. На спину. Беспомощно задрыгал ножками.

Мальчишка перевернул его. Щитоноска сразу прижалась к ладони — краями, всей каймой — и замерла.

— Он прячется, — сообщил Тоби. — Под крышей. Как черепаха.

Я взял жука у него с ладони. Поднял к солнцу.

Сквозь прозрачную кайму солнце было золотым. Медовым. Таким, как бывает свет в янтаре, если поднести его к окну.

У меня на груди, под рубахой, что-то стало тёплым.

Я не сразу понял что. Потом — понял. Капля. Отцовская

янтарная капля на шнурке, с крохотным мотыльком внутри. Она лежала у меня под рубахой, рядом со сложенным листком со словом, которое нельзя говорить вслух, — и она стала тёплой. Не горячей. Тёплой. Как тёплым становится камень на солнце.

Я положил руку на грудь. Капля грела ладонь сквозь рубаху.

— Ты чего? — удивилась Рия.

— Ничего, — ответил я. — Солнце.

Я отпустил жука на лист. Щитоноска прижалась краями, втянула ножки — и стала крышей.

Тоби уже рисовал. Углём, на плоском камне у края поля. Круглый жук, большой, с широкими полями, и под полями — шесть палочек-ножек. А над жуком — маленький человечек. Под крышей. Сухой, хотя вокруг — Тоби нарисовал — шёл дождь.

* * *

Хутор Рии стоял на пригорке, за рощей. Большой, крепкий, с длинным домом под соломенной крышей, с сараем, с хлевом, с колодцем-журавлём. И с кузней — низкой, каменной, почерневшей от дыма, стоявшей отдельно, у дороги, чтобы проезжие видели.

Из кузни шёл дым. И звенело. Мерно, тяжело: молот по наковальне, раз — пауза — раз.

Рия остановилась у околицы.

Я видел, как подруга стоит. Прямо, неподвижно, с меш-

ком за плечом и перчаткой на левой руке. Смотрит на кузню. Слушает молот.

— Три года, — прошептала она. — Три года не была.

Звон молота прекратился.

Из дома выбежали мальчишки.

Пятеро. Все — рыжие, все — веснушчатые, все в застиранных рубахах, от большого к маленькому, как горшки на полке у Одды. Старшему — лет двенадцать, младшему — четыре. Они неслись по двору с таким визгом, что куры взлетели на забор.

— РИЯ!

Рия выронила мешок.

Братья налетели на неё все разом. Облепили, как пчёлы облепляют соты. Кто за шею, кто за пояс, кто за ноги. Самый маленький — четырёхлетний, без переднего зуба — повис у неё на руке, на левой, в перчатке, и Рия охнула и подхватила его другой рукой, и прижала к себе, и уткнулась лицом в его рыжую макушку.

Я отвернулся. Мне показалось, что так надо.

Лейн не отвернулся. Он стоял рядом со мной в своей соломенной шляпе и смотрел на пятерых рыжих мальчишек, облепивших сестру, и лицо у него было такое, что я положил ему руку на плечо. Мальчик не стряхнул.

* * *

Мать Рии вышла на крыльцо, вытирая руки о передник. Невысокая, полная, с рыжими волосами, тронутыми седи-

ной, и с лицом, на котором было всё сразу: радость, страх, слёзы, которые она не пускала.

— Рия, — выдохнула она.

— Мама.

— Ты… надолго?

— На день, — ответила Рия. — Может, на два.

Мать кивнула. Посмотрела на кузню.

Из кузни вышел отец.

Кузнец был огромный. Не как Бо — Бо был огромным, как гора, мягким и круглым. Отец Рии был огромным, как наковальня. Квадратный, тяжёлый, с плечами в два моих размаха, с руками, на которых мышцы лежали, как канаты на причале. Рыжая борода — с сединой, обгоревшая на концах. Кожаный фартук, прожжённый в десяти местах. В руке — молот.

Он остановился у двери кузни. Посмотрел на дочь. На мальчишек, всё ещё висевших на ней.

Братья отпустили её. Все разом. Отступили. Даже младший.

Отец долго смотрел на Рию. Ничего не говорил. Потом повернулся и ушёл обратно в кузню.

Звон молота возобновился. Раз — пауза — раз.

Рия стояла посреди двора. Мать — на крыльце. Мальчишки — вокруг. Все смотрели на дверь кузни.

— Ну, — сказала Рия. Голос у неё не дрогнул. Почти. — Я обещала показать.

И пошла к кузне.

* * *

Я пошёл за ней. Остановился у двери — внутрь не вошёл. Это было не моё. Лейн встал рядом. Тоби — тоже. Мальчишки сгрудились за нами, выглядывая из-за моей спины, из-под руки, из-за косяка.

Кузня была тёмной, жаркой, пахнущей углём и окалиной. Каменный горн с мехами из бычьей кожи, наковальня на дубовом чурбаке, клещи и зубила на своих гвоздях — как у Корра, только всё тяжелее и чище.

Кузнец стоял у наковальни. Бил по полосе железа. Не поднимая головы.

Рия подошла к горну. Встала рядом. Огонь в горне был слабый — угли тлели, мехи не качали.

— Ты сказал — не придёшь в Службу, не приходи совсем, — начала Рия. — Я не пришла в Службу. Я пришла сюда.

Отец бил по железу.

— Я в гильдии, — продолжила она. — Под мостом. Седьмая Опора. Меня учит Уна. Ты её не знаешь. Она говорит, мои искры — окалина. Что бить надо молотом, не злостью. — Пауза. — Как ты говорил.

Молот замер в воздухе. На полвдоха. Потом опустился.

Рия сняла перчатку.

Медленно. Палец за пальцем. И когда перчатка упала на земляной пол, ладонь у неё засветилась — в полутьме кузни так ярко, что мальчишки за моей спиной ахнули. Красный

свет. Тёмные линии под кожей. Как раскалённая полоса железа, по которой провели углём.

Отец поднял голову.

Рия протянула ладонь к горну. К тлеющим углям.

И угли вспыхнули.

Не от мехов — от неё. Сами. Весь горн разом, от края до края. Пламя поднялось на локоть, жёлто-белое, ровное, гудящее, как гудит горн, когда мехи качают трое здоровых парней. Жар ударил в лицо даже мне, у двери.

Рия держала ладонь над горном. Не касаясь огня. На ладонь выше. И огонь тянулся к ней, как собака к хозяину.

— Дай полосу, — попросила она.

Отец смотрел на неё. На огонь. На её руку.

Потом взял клещами полосу с наковальни. Ту, по которой бил. Сунул в горн.

Железо раскалилось за три вдоха. Не за десять, как обычно, — за три. Белое, искрящее, мягкое.

Кузнец вынул его. Положил на наковальню. Поднял молот.

И посмотрел на дочь.

Рия положила левую ладонь на край наковальни. Рядом с раскалённым железом. Не на него — рядом.

— Бей, — сказала она.

Он ударил.

* * *

Я не знаю, сколько они работали. Долго. Солнце ушло с

порога и легло на стену кузни косым жёлтым пятном. Младший уснул у меня на коленях. Тоби рисовал углём на дверном косяке — молот, наковальню, двух людей. Лейн смотрел, не мигая.

Отец бил. Рия держала жар.

Мехи стояли без дела. Девушка держала огонь в горне ладонью: то поднимала его, то опускала, то сводила в узкий белый язык, то разводила в широкое пламя. И когда отец вынимал железо, клал его на наковальню и поднимал молот — она клала ладонь рядом, и железо не остывало. Ни на миг. Кузнец бил двадцать раз, сорок — не возвращая в горн. Железо оставалось белым, мягким, послушным, пока Рия держала руку рядом.

Отец ковал подкову.

Простую. Конскую. Самую простую вещь, которую кузнец может сделать с закрытыми глазами. Но ковал он её так, как куют меч. Медленно. Точно. С каждым ударом проверяя, глядя, примеряясь.

Когда подкова была готова, кузнец опустил её в бочку с водой. Вода зашипела. Пар поднялся до потолка.

Он вынул подкову. Посмотрел на неё. Потом на Рию.

Дочь убрала ладонь. Огонь в горне опал — медленно, нехотя, до тлеющих углей. Ладонь у неё ещё светилась, но тускло, как светится горн к ночи.

Отец долго молчал.

Потом вышел из кузни. Мимо меня, мимо мальчишек, ми-

мо Тоби. Подошёл к дому. Взял у крыльца лестницу. Приставил к стене, над дверью. Поднялся. Вынул из кармана фартука гвоздь. И тремя ударами молота прибил подкову над дверью дома. Рогами вверх. На удачу.

Спустился. Убрал лестницу.

Подошёл к Рие, которая стояла в дверях кузни, всё ещё с голой рукой.

— Служба таких не держит, — произнёс он. Голос у него был низкий, хриплый, будто кузнец давно не говорил. — Служба держит батарейки. А ты — горн.

Отец развязал свой фартук. Кожаный, тяжёлый, прожжённый в десяти местах. Снял через голову. И надел на Рию.

Фартук был ей до щиколоток. Широкий, как парус.

— Мой дед в таком стоял, — сказал он. — Пока не стал… как это у ваших… второй ступенью. Он тоже горел. Руками. По ночам. Мать моя рассказывала: подушки дымились, — кузнец посмотрел на её ладонь. — У тебя дымятся?

— У Исы, — ответила Рия странным голосом. — У меня — нет. Я сплю у Дорна. У воды.

Отец кивнул, будто это было правильно.

Потом положил свою огромную ладонь ей на голову. Как кладут на голову ребёнку. Подержал.

И ушёл в дом.

Рия стояла в дверях кузни, в отцовском фартуке до щиколоток, и смотрела ему вслед. Плакала. Беззвучно, не вытирая слёз.

* * *

Мы остались на ночь.

Мать накормила нас так, что Тоби уснул прямо за столом, с куском пирога в руке. Мальчишки спорили, кому спать рядом с Лейном, потому что тот показал им огонёк. Всего один — с орех, на ладони, — но братья Рии смотрели на него, как на чудо. Старший попросил зажечь свечу, средний — три. Лейн зажёг. Младший, четырёхлетний, спросил, может ли Лейн зажечь луну.

Огневик посмотрел в окно на луну. Подумал.

— Нет, — серьёзно ответил он. — Она далеко. И её уже зажгли.

Мальчишки засмеялись. Лейн тоже. И я понял, что за всю его жизнь никто ни разу не смотрел на его огонь без страха. Никто ни разу не просил ещё.

Отец сидел во главе стола. Ел молча. Слушал. Когда Лейн зажёг три свечи, кузнец посмотрел на него. Долго. Потом на меня.

После ужина он вышел на крыльцо. Я — следом. Хозяин сел на ступеньку, достал трубку. Я сел рядом.

Мы молчали. Над полем висела луна, которую уже зажгли. Пахло сеном и остывающим горном.

— Ты её бережёшь? — наконец спросил он, не глядя на меня.

Я подумал.

— Не умею, — честно признался я. — Пока. В парке, в

Аэвене, она держала огонь голой рукой. Пять вдохов. А я не мог её закрыть. Я мог только смотреть.

Отец курил.

— Научись, — коротко сказал он.

— Учусь.

Кузнец кивнул. И больше ничего не сказал.

* * *

Пип пришёл на рассвете. Приехал верхом на муле, которого одолжил у мельника у Южных ворот, — мул был злой, Пип был в пыли с головы до ног и держался за луку седла обеими руками.

— Письмо, — выдохнул он, сползая на землю. — Из Аэвена. Уна сказала — бегом. Я не бегом, я на муле. Это быстрее. Хотя мул так не думает.

Письмо было в плотном конверте с печатью — не солнце над тремя башнями, а простой воск, без оттиска. Почерк — острый, косой, торопливый. Я узнал его не сразу. Потом узнал: так писал человек, которого с двенадцати лет учили писать красиво и который сейчас писал так быстро, как только мог.

«Лесорубу. Седьмая Опора, Истмар.

Юг — это Хэлм. Соляные копи. Отцовские. Те самые, что Кассий попросил у Императора. Я нашёл в отцовских бумагах — он не прятал, он думал, я не полезу. Там списки. По годам. Брат — пять лет назад. Номер сто девяносто.

Отец знает, что я знаю. Вчера он сказал за ужином, что

дом Орре не прощает тех, кто роется в чужих сундуках. Даже если это его сундуки. Даже если это его сын.

Я уезжаю. В Портовую Тирру — устье Ярны. Оттуда до Хэлма неделя по берегу.

Жду вас в Тирре до первого осеннего шторма. Потом иду один.

Если ты знаешь, жив ли он, — напиши. Я не прошу ничего больше.

К. О.

P. S. Перстень у меня. Я ношу его на шнурке, как ты свой янтарь. Не знаю зачем».

Я прочёл письмо дважды. Потом сложил.

Рия стояла рядом, в отцовском фартуке, с мешком, который дала мать, — тяжёлым, полным пирогов. Подруга прочла письмо через моё плечо.

— Первый осенний шторм, — проговорила она. — Это сколько?

— Не знаю, — я посмотрел на юг. На ровную жёлтую землю, уходящую к горизонту. — Лейн?

Мальчик стоял на крыльце, в соломенной шляпе. Он прочёл письмо — я не заметил, когда, — и лицо у него было бледное.

— На море? — переспросил он. — Первый шторм — это после сбора соли. Когда ветер с юга, — Лейн сглотнул. — Месяц. Может, меньше.

Месяц.

А Вард сказал: год. Не юг.

Глава 6

Иса разложила на столе три вещи: письмо Кассиана, бирку Брюка и приказ с белой печатью. Положила их рядком, ровно, как раскладывают карты перед гаданием. И произнесла:

— Нет.

— Я ещё ничего не предложил, — возразил я.

— Ты предлагаешь с тех пор, как вернулся с хутора. Ты молчишь громче, чем Сорен говорит.

Сорен, сидевший напротив, хотел возразить, подумал и не стал.

Было утро. Все сидели за длинным столом — как в ночь перед складом Греты, только теперь никто не шутил. Бо на диване, Корр с лупой, Уна у котла. Вейра с пером. Тиль между Уной и Вейрой, с медной пластиной под ошейником, с куском хлеба в руке, который она так и не ела. Лейн — рядом со мной. Рия — в отцовском фартуке, который она теперь, кажется, не снимала.

Дверь на галерее была закрыта. Отдушина в своде — открыта.

— Вард сказал: год, — продолжала Иса. — Вард сказал: не юг. Вард — гильдмастер. Это его гильдия. Его мост. Его слово, — она положила палец на письмо Кассиана. — А это — письмо мальчишки из дома Орре, который поссорился с отцом. Ты ему ничего не должен.

— Он дал два ауреона за Лейна, — напомнил я.

— В долг.

— Он стоял в Палате и говорил против своего дяди. При всех.

— Это его дело.

— Его брат — номер сто девяносто, — сказал я. — Йенс — где-то рядом. Тиль сидела с ними на одном ряду, — я посмотрел на девочку. — Сколько вас там?

Тиль подняла глаза от хлеба.

— На нашем ряду — двадцать восемь, — ответила она. — Было тридцать. Двое вспыхнули, — девочка запнулась, вспоминая, как правильно сказать. — Всего рядов — одиннадцать. Я считала.

В комнате стало тихо.

Одиннадцать рядов. По тридцать. Триста детей у белых столбов. Под землёй. В ошейниках.

* * *

— Хорошо, — вдруг сказала Иса.

Все посмотрели на счетовода.

— Не «хорошо, иди», — быстро добавила она. — «Хорошо» — это я считаю, — Иса открыла книгу гильдии на чистой странице. Обмакнула перо. — Если ты пойдёшь. Не «когда» — если. Кто с тобой?

— Сорен.

— Иду, — отозвался товарищ.

Иса записала.

— Рия.

Рия кивнула. Перо снова скрипнуло.

— Тиль, — продолжил я. — Она знает дорогу. Она знает Хэлм. Без неё мы будем искать неделю.

Девочка выпрямилась на лавке. Уна положила ей руку на плечо — тяжёлую, красную, прачечную, — и ничего не сказала. Тиль не обернулась. Только чуть подалась под эту руку, как подаётся кошка.

Иса записала и её.

— Лейн, — добавила она сама и подняла глаза на меня. — Ты поручитель. Палата сказала: «под надзор гильдии Седьмая Опора, под поручительство члена гильдии». Палата не сказала — «в Истмаре». Я могу трактовать. И я трактую так: где поручитель, там и подопечный, — счетовод постучала пером по странице. — Если ты едешь на юг, а он остаётся здесь, и тут что-то загорится, — Палата спросит, где был поручитель. И я не смогу ответить.

Мальчик смотрел на неё. Потом на меня.

— Я еду домой? — тихо спросил он. — На юг?

— Мимо, — ответил я. — Может быть.

Лейн ничего не сказал. Но я видел, как у него дрогнули пальцы на коленях.

— А ты? — спросил яИсу.

Иса закрыла книгу.

— А я поеду в Аэвен, — ответила она. — В Палату. К Квилл. Потому что если вы полезете в копи дома Орре, вас

будут судить не в Истмаре и не в Хэлме, а там. И мне нужна будет бумага. Другая. Не серая, не белая. И мне надо будет понять, какая.

* * *

— Это всё «если», — подала голос Уна.

Старуха стояла у котла. Трубка у неё не горела — она просто держала её в зубах, как держат палку, на которую опираются.

— Вард сказал «год», — продолжила Уна. — Вард сказал «не юг». Вард не сказал «нет». Он сказал «не», — она посмотрела на отдушину в своде. — Иди к нему, лесоруб. Не ко мне. Он — гильдмастер. Я тридцать лет держала за него мост. Больше не держу.

И отвернулась к котлу.

Я встал.

Из отдушины в своде тихо, с хрипотцой, как вода по гальке, донеслось:

— Вечером.

* * *

Весь день я не находил себе места.

Ходил по площадке. Смотрел на реку. Солевоз «Сестра соли» ушёл неделю назад — хозяин нашёл новую бечеву, новых бечевщиков и уплыл вверх, в Хольдмарк, не прощаясь, оставив нам на память две дыры в форме ладоней на корме и треснувший карниз на опоре. Бо его заделал. Раствором, камнем, дубовым клином. Клином здоровяк гордился. По-

казывал всем.

Тиль ходила за мной. Не рядом — в трёх шагах. Как ходят дети, которые хотят спросить, но боятся.

К полудню я не выдержал.

— Ну?

— Он меня не помнит, — выпалила Тиль.

— Кто?

— Вард, — она смотрела на дверь опоры. — В копях говорят: давно, давно, когда наши матери были маленькими, пришёл человек из-под моста. Из Истмара. Невысокий. Сильный. Пришёл в Хэлм ночью, спустился вниз. И вывел сорок детей. Сорок. Говорят — по старой штольне, через воду, — девочка подняла на меня глаза. — Йенс рассказывал. Каждую ночь. Ему рассказывал мальчик, который сидел до него на его месте. А тому — тот, кто сидел до него. Говорят, если очень надо — иди на север, в Истмар, найди мост. Там не отдают.

Тиль замолчала.

— Он меня не помнит, — повторила она. — Он на меня даже не смотрит.

— Ты не была там тогда, — мягко возразил я. — Тебя ещё не было.

— Знаю, — Тиль сжала губы. — Но я думала — он посмотрит.

* * *

Вечером я поднялся на галерею.

Дверь была открыта. Вард сидел внутри — не на кровати, не за столом. На полу. У окна, которое выходило на реку и на Шпиль. Перед гильдмастером на полу лежал лист. Большой, старый, жёлтый, с обтрёпанными краями, сложенный вчетверо и развёрнутый столько раз, что сгибы стали мягкими, как ткань.

— Садись, — велел Вард.

Я сел. Напротив него, на пол.

Лист был картой. Не красивой, не выведенной писарем, — нарисованной от руки, углём и чернилами, разными, в разное время. Чьей-то торопливой рукой. Линии — кривые, неровные, будто рисовали на колене, в темноте. Ярусы, один под другим. Ходы, как ходы древоточца в дереве. Подписи — мелкие, выцветшие, на южном наречии, которого я не знал.

— Хэлм, — произнёс Вард. — Нижние ярусы. Какими были двадцать шесть лет назад, — он положил палец в перчатке на край карты. — Сейчас — другими. Копи растут. Но старое не исчезает. Старое зарастает солью. Его забывают, — мастер провёл пальцем вниз, к нижнему краю. — Вот.

Там, внизу, у самого края листа, была линия. Отдельная от остальных. Длинная, извилистая, уходящая вбок и вверх, к краю карты, и там — обрывавшаяся. Рядом — крестик. И ещё один знак. Волна. Три изогнутые чёрточки, одна над другой.

— Старая штольня, — пояснил гильдмастер. — Первая. Её прорубили, когда Хэлма ещё не было. Потом бросили. По-

том про неё забыли. Выходит на поверхность в овраге за городом, в двух милях к северу. Вход завален. Был завален. — Пауза. — Я входил здесь.

— Двадцать шесть лет назад.

— За год до Чаши.

Я посмотрел на него. Вард смотрел на карту.

— А это? — я показал на волну.

— Вода, — ответил Вард. — Пресная. Под Хэлмом есть ключ. Его закрыли деревянной запрудой, когда рубили первые ярусы, чтобы не затопило. Запруда старая. Её не трогали двести лет, — он поднял на меня серый глаз. — Не трогай, пока не надо.

— А когда надо?

— Поймёшь, — коротко ответил старик.

* * *

Мы сидели долго. За окном темнело. Ярна стала серой, потом чёрной. На Шпиле зажглись огни — голубые, ровные, на белом хэлме, как я теперь знал.

— Вы сказали — год, — наконец произнёс я. — Не юг.

— Сказал.

— А теперь даёте карту.

Вард молчал. Потом медленно, очень медленно, взялся правой рукой за перчатку на левой. Потянул. Палец за пальцем, как Рия в кузне. Снял.

Рука была обычная. Широкая, тяжёлая, в мозолях, с узловатыми пальцами. Только два — мизинец и безымянный

— были белыми.

Не бледными. Белыми. Как столб. Как соль. Кожа на них была не кожей, а коркой — тонкой, зернистой, хрустящей на вид, будто пальцы обмакнули в рассол и забыли там на двадцать лет. Они не сгибались. Торчали из ладони, прямые, мёртвые, как два куска мела.

— Вышел не весь, — сказал гильдмастер.

Я смотрел на его руку. Не мог отвести глаз.

— Кто? — спросил я.

— Мальчишка, — Вард смотрел на свои белые пальцы спокойно, как смотрят на старый шрам. — Младший надсмотрщик. Лет двадцати. Сухой, аккуратный, тихий. Он стоял у ворот нижнего горизонта, когда я выводил последних. Я его не убил. Пожалел. — Пауза. — Он меня не пожалел. Взял за руку. Вот так, — Вард взял свою левую руку правой, за два пальца. — Сказал: «Это неаккуратно».

У меня по спине прошёл холод.

— Ардо Сейн, — выдохнул я.

— Теперь — смотритель, — кивнул Вард. — Я слышал. Растёт.

Он надел перчатку обратно. Медленно. Палец за пальцем.

— «Мост не трогать: там Вард», — процитировал я. — Это было в приказе. Он вас помнит.

— Он помнит, что я вывел сорок, — ответил мастер. — И что он не смог остановить. Это не забывают. Такие, как он, — не забывают, — Вард посмотрел на меня. — И теперь он

хочет посмотреть на тебя. Потому что ты — из-под моста. Как я. И у тебя тоже что-то есть.

* * *

— Я говорил — год, — продолжил Вард. — И я был прав. Тиару в Хэлме — плохо. Соль пьёт. Медленно, но пьёт. Твои жуки там будут тускнеть, ты — уставать. Ты будешь слабее, чем здесь. Намного.

— Я знаю.

— Знаешь, — Вард кивнул. — Но ты всё равно пойдёшь. — Это был не вопрос. — Ты пошёл за огневиком в Императорский парк. Ты пошёл за Ольсом к ящику. Ты сидел на моём пороге в Аэвене, на мху, спиной к Иверне, — он вдруг усмехнулся — коротко, одним углом рта, как Уна. — Ферн написал мне. Про мох. Ему понравилось.

Я молчал.

— Если я скажу «нет», — продолжил гильдмастер, — ты всё равно пойдёшь. Через месяц, через два. Один. Без карты. Без Сорена. Без девочки, которая знает дорогу. Потому что ты такой, — он постучал пальцем в перчатке по карте. — Поэтому — карта. И поэтому — условие.

— Какое?

Вард наклонился ко мне. Белый глаз смотрел мне куда-то в висок, серый — прямо в зрачки.

— Вернёшь, — произнёс он.

Я вздрогнул.

Это было слово отца. Хальдена. Он сказал его, когда от-

давал мне топор. «Вернёшь». Он писал его в письмах — «СНАЧАЛА ДЕЛО. ТОПОР ПОДОЖДЁТ. ВЕРНЁШЬ». Я держался за это слово на дне прожига, под мостом, когда Сердце тянуло меня вниз.

Вард не мог этого знать. Или мог. Я уже ничему не удивлялся.

— Вернёшь их, — повторил Вард. — Всех, кого возьмёшь с собой. Сорена. Рию. Мальчишку. Девочку. — Пауза. — Себя. Всех. Живыми. Это условие.

— А если…

— Без «если», — отрезал мастер. — Я вывел сорок. Сорок, лесоруб. А взял с собой пятерых, — он сложил карту. Вчетверо, по мягким сгибам. — Вернул троих.

И протянул мне карту.

Я взял. Лист был тёплый от его рук. Тонкий, мягкий, тяжёлый, как бывает тяжёлым письмо, которое долго носили у сердца.

— Кто были двое? — спросил я.

Гильдмастер встал. Медленно, держась за подоконник. Посмотрел в окно, на Шпиль.

— Иди спать, лесоруб, — только и ответил он.

* * *

Корр собрал нас в мастерской на следующее утро.

Мастерская Корра была тем местом, куда даже Бо заходил с опаской. Низкая, сводчатая, у самой воды, пропахшая гарью, медью, кислотой и палёными бровями. На стенах —

полки, на полках — ящики, склянки, кристаллы, мотки проволоки, щипцы, какие-то механизмы без названий. Посреди — верстак, обожжённый в стольких местах, что непонятно было, какого он был цвета изначально. На потолке — круглое чёрное пятно. Корр говорил, это от опыта трёхлетней давности. Уна говорила, что это от опыта позапрошлой среды.

— Тиль, — позвал алхимик. — Сюда.

Девочка подошла к верстаку. Корр усадил её на табурет. Достал из ящика что-то медное. Широкое, гибкое, в форме полумесяца. Как воротник. Медная пластина, тонкая, с загнутыми краями, и в ней — гнёзда. Три. Как на поясе Ольса, только маленькие.

— Ошейник я снять не могу, — признался Корр. — Пока. Неделю бился. Плетение — соляное, жадное, хитрое. Кусается, если трогать. Срастается, если резать, — он посмотрел на меня. — Лесоруб его однажды надкусил. Жуком. Случайно. Я видел. Если он научится кусать нарочно — ошейник снимется сам. А пока…

Старик надел медный воротник Тиль на шею. Поверх ошейника, под ним, обхватив его со всех сторон, как ножны обхватывают нож. Воротник защёлкнулся.

— Медь, — пояснил Корр. — Он пьёт из меди. Медь пьёт из кристаллов, — алхимик вставил в гнёзда три кристалла. Белых, прозрачных, чистых. Белый хэлм. — Три. На три дня, по одному в сутки — Вард прав, ночью он пьёт больше. Я

положу тебе ещё двадцать семь в мешок. На месяц. Если не вернётесь за месяц… — он замолчал.

— Вернёмся, — пообещал я.

— Вернёшь, — поправил Корр. Он слышал. Отдушина в своде вела не только в комнату Варда.

Тиль трогала медный воротник. Металл был тёплым.

— Ты кормишь его, — сказала она Корру. — Своими кристаллами. Которые сделаны из нас.

— Да, — ответил старик. Без бровей лицо у него было совсем голое. — Других у меня нет.

Девочка долго смотрела на него.

— Ладно, — наконец произнесла она. — Спасибо.

* * *

Вечером того же дня Бо кидал в меня камни.

Это была идея Лориана. Он прислал со Шпиля записку — короткую, в своём духе: «Покров держится, пока ты о нём не думаешь. Сделай так, чтобы тебе было о чём думать. Попроси кого-нибудь в тебя кидаться. Не Сорена — он попадёт». Бо согласился сразу. Великан вообще любил, когда его о чём-то просили.

Здоровяк сидел на краю площадки с ведром речной гальки и бросал. Не сильно — для Бо. Для обычного человека — так, что галька свистела. Я стоял у стены опоры с голыми руками, выводил Покров на ладонь и на предплечье — дальше пока не получалось — и ловил камни. Не руками. Кожей.

Первый камень я поймал лбом. Покрова на лбу не было.

— Ой, — расстроился Бо.

— Ничего.

Второй — в ладонь. Плёнка дрогнула, но камень отскочил, как от доски, оставив только звон в костях. Третий — в предплечье. Плёнка лопнула, и на коже вздулся синяк. Четвёртый — опять в ладонь. Отскочил.

На площадку вышел Пип с доской ставок. Через вдох — Сорен. Через два — половина гильдии. Пип мелом вывел на доске: «СКОЛЬКО ИЗ ДЕСЯТИ?» Сорен поставил на шесть. Тоби — на десять. Лейн — на семь, «потому что семь — хорошее число». Корр, проходя мимо с ведром кислоты, бросил клипп на «четыре» и сказал, что это не ставка, а научный прогноз.

Я поймал восемь. Восьмой — предплечьем, и плёнка выдержала. Девятый пришёлся в плечо, где Покрова не было вовсе, и я сел на доски.

— Восемь, — объявил Пип. — Никто не угадал. Банк — Бо.

— Мне? — удивился великан.

— Ты кидал.

Бо подумал и отдал банк Тоби. Мальчишка, сжимая в кулаке четыре клиппа, сел рядом со мной и долго смотрел на мою руку — на плёнку, которую видно было только Чутьём.

— Это крыша? — спросил Тоби.

— Это Покров.

— А почему только на руке?

Хороший вопрос. Самый хороший за весь вечер.

— Учусь, — ответил я.

Над дверью, в узком окне общей комнаты, мелькнул силуэт. Невысокий, широкий. Постоял и ушёл.

* * *

Сборы заняли два дня.

Иса составила список. Длинный, на двух страницах, мелким почерком, с подчёркиваниями. Вейра переписала его набело. Пип читал его вслух, пока все бегали, и ставил галочки углём.

— Топор — есть. Нож Дорна — есть. Кристаллы для ошейника — тридцать, есть. Медная пластина запасная — есть. Плащи — пять, есть. Перчатка Рии — есть. Фартук Рии… — Пип поднял голову. — Рия, ты правда возьмёшь фартук?

— Возьму.

— Он же до пола.

— Подверну.

Мальчишка поставил галочку.

— Тенелист, — прочитал он дальше и нахмурился. — Это кто писал?

— Я, — признался я.

Горшок Осс я к тому времени перенёс на подоконник общей комнаты, и тенелист пустил уже третий новый лист. Я срезал с него четыре листа — больше Осс не велела брать за раз, — завернул их в вощёную тряпицу, а тряпицу — в кожу.

Вдова сидела у меня на запястье и тянулась к свёртку всеми восемью лапами, как ребёнок к прилавку с пряниками.

— Нет, — сказал я паучихе. — Это на юг.

Корр, проходя мимо, остановился.

— В Хэлме охраны больше, чем детей, — заметил он. — Плети, ворота, смены. Дерёшься там — соль на тебя смотрит. А спящий не кричит, — алхимик посмотрел на вдову поверх лупы. — Две капли. Не три. Она жадная, лесоруб. Как я в молодости.

Я сунул свёрток во внутренний карман, к карте Варда. Пип поставил галочку.

Тоби рисовал. Весь второй день. Мелом, углём, на всём, что попадалось, — на полу площадки, на стене опоры, на двери. Рисовал жука с крышей. Большого. Круглого. С широкими полями. А под полями — маленьких человечков. Одного. Двух. Пятерых. Сухих, хотя вокруг — дождь.

Я спросил его зачем.

— Чтоб вы вернулись, — объяснил Тоби. — Под крышей не мокро.

* * *

Рия пришла ко мне на площадку в последний вечер.

Села рядом. Сняла перчатку. Ладонь светилась тускло, ровно.

— Вард показал тебе руку, — произнесла она. Не вопрос.

— Откуда…

— Дорн, — Рия смотрела на воду. — Дорн знает. Он то-

гда был с ним. Двадцать шесть лет назад. Он был одним из пятерых.

Я повернулся к ней.

— Дорн?

— Он мне рассказал. Позавчера. Ночью. Я не спала — рука. Он не спал — он никогда не спит, — подруга сжала пальцы. — Он сказал — их было пятеро. Вард, Дорн, Уна. И двое. Двое не вернулись. Он не сказал, кто. Он сказал только: «Соль». И больше ничего.

Уна. Уна тоже была там.

Я вспомнил, как Уна стояла у котла с незажжённой трубкой. «Я тридцать лет держала за него мост. Больше не держу».

— Он сказал ещё одно, — добавила Рия. — Он сказал: «Передай лесорубу. Соль не любит дерево. Дерево не любит соль. Он — дерево. Пусть помнит».

Я сидел и смотрел на реку. Ярна шуршала у опоры. Нити звенели — все десять, тихо, тонко, будто чувствовали, что скоро.

* * *

«Белую чайку» нашёл Сорен.

На второй день сборов товарищ вернулся с пристани, вытирая руки о штаны, с лицом человека, который выиграл в кости больше, чем рассчитывал.

— Солевоз, — объявил он. — Идёт вниз, к морю. Порожняком. Завтра на рассвете. Хозяйка — Мэв Корд. Курит, ру-

гается, кричит на бечевщиков. Лучшая лодочница на Ярне, говорят, — Сорен сел за стол. — Берёт пассажиров.

— Сколько?

— Сол с головы. До самой Тирры. И кормит.

Иса подняла голову от списка.

— Сол? — переспросила счетовод. — До Тирры — восемнадцать дней. Сол — это меньше, чем похлёбка в Аэвене за неделю.

— Сказала — порожняком всё равно идёт, лишние руки на вёслах пригодятся, — Сорен пожал плечами. — Я сначала предложил два. Она сказала — один. Я даже не торговался.

Иса пристально смотрела на него.

— Ты не торговался, — повторила она медленно. — А она снизила цену. Сама.

Улыбка сошла с лица Сорена.

— Она спросила, сколько нас, — медленно проговорил он. — Я сказал — пятеро. Она спросила, есть ли с нами девочка. Я сказал — есть. Она… — товарищ нахмурился. — Она кивнула. Будто ждала. Я подумал — просто так. Женщины любят знать, будут ли на борту дети.

Иса положила перо.

— Горько тебе было? — спросила она. — Когда она кивнула?

— Я не ты, — хмыкнул Сорен. — Мне не бывает горько. Мне бывает интересно.

— И как было?

Сорен подумал.
— Интересно, — признал он.

Γ

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.